

Валентин Григорьевич Распутин

Живи и помни

1

Зима на сорок пятый, последний военный год в этих краях простояла сиротской, но крещенские морозы свое взяли, отстучали, как им полагается, за сорок. Прокалившись за неделю, отстал с деревьев куржак, и лес совсем помертвел, снег по земле заскрип и покрошился, в жестком и ломком воздухе по утрам было трудно продохнуть. Потом снова отпустило, после этого отпустило еще раз, и на открытых местах рано затвердел наст.

В морозы в бане Гуськовых, стоящей на нижнем огороде у Ангары, поближе к воде, случилась пропажа: исчез хороший, старой работы, плотницкий топор Михеича. Сроду, когда надо было что-то убраться от чужих глаз, толкали под не пришитую половицу сбоку от каменки, и старик Гуськов, крошивший накануне табак, хорошо помнил, что он сунул топор туда же. На другой день хватился нет топора. Обыскал все – нет, поминай как звали. Зато, облизав вдоль и поперек баню, обнаружил Михеич, что топор – не единственная его потеря: кто-то, хозяйничавший здесь, прихватил заодно с полки добрую половину листового табаку-самосаду и позарился в предбаннике на старые охотничьи лыжи. Тогда-то и понял старик Гуськов, что вор был дальний и топора ему больше не выдать, потому что свои, деревенские, лыжи не взяли бы.

Настена узнала о пропаже вечером, после работы. Михеич за день не успокоился: где теперь, в войну, возьмешь такой топор? Никакого не возьмешь, а этот был словно игрушечка – легкий, бриткий, как раз под руку. Настена слушала, как разоряется свекор, и устало думала: чего уж так убиваться по какой-то железяке, если давно все идет вверх тормашками. И лишь в постели, когда перед забытьем легонько занывает в покое тело, вдруг екнуло у Настены сердце: кому чужому придет в голову заглядывать под половицу? Она чуть не задохнулась от этой нечаянно подвернувшейся мысли, сон сразу пропал, и Настена долго лежала в темноте с открытыми глазами, боясь пошевелиться, чтобы не выдать кому-то свою страшную догадку, то отгоняя ее от себя, то снова подбирая ближе ее тонкие, обрывающиеся концы.

В эту ночь Настена не выспалась, а утром чуть свет решила сама заглянуть в баню. Она не пошла по телятнику, где в снегу была вытоптана дорожка, а по общему заулку спустилась к Ангаре и повернула вправо, откуда над высоким яром виднелась за городьбой крыша бани. Постояв внизу, Настена осторожно поднялась по обледенелым ступенькам вверх, перелезла, чтобы не скрипнуть калиткой, через заплот, потопталась возле бани, боясь войти сразу, и лишь тогда тихонько потянула на себя низенькую дверку. Но дверка пристыла, и Настене пришлось дергать ее изо всех сил. Нет, значит, никого тут нет, да и не может быть. В бане было темно, маленькое окошечко, выходящее на Ангару, на запад, только-только начинало заниматься блеклым полумертвым светом. Настена села на лавку у окошечка и чутко, по-зверинуому стала внюхиваться в банный воздух, пытаясь найти новые и непривычные, знакомые когда-то давно запахи, но ничего, кроме резкого и горьковатого духа подмерзшей прели, отыскать не смогла. «Выдумала, дура, чего-то», – упрекнула она себя и поднялась, не понимая толком, зачем она сюда приходила и что тут хотела найти.

Днем Настена возила с гумна солому на колхозный двор и всякий раз, спускаясь с горы, как завороченная посматривала на баню. Одергивала себя, злилась, но пялилась на темное и угловатое пятно бани снова и снова. Солому приходилось выколупывать из-под снега железными вилами, набрасывая на сани по жвачке, и за три ездки терпеливая к любой работе Настена умаялась так, что хоть веди под руки. Сказалась, видно, к тому же бессонная ночь. Вечером, едва поев, Настена упала в постель как убитая. То ли ей что ночью приснилось, да она заспала и забыла, то ли на свежую голову пало само, но только, проснувшись, она уже

точно знала, что делать дальше. Выбрала в амбаре самую большую ковригу хлеба, завернула ее в чистую холстину и тайком отнесла в баню, оставив хлеб на лавке в переднем углу. Посидела еще, подумала, размышляя, в своем она уме или нет, и ушла, притворив за собой дверку с тайным, закливающим вздохом.

Два утра после этого проверяла Настена – ковригу никто не тронул. Тогда она обменяла ее на другую, свежей выпечки, и положила туда же, на видное место. Она уже ни на что не надеялась, но какая-то беспокойная, упрямая жуть в сердце заставляла ее искать продолжения истории с топором. Не мог чужой догадаться, что под плахой тайник, – вот она, плаха, намертво лежит рядом с другими, не шевельнется, не дрогнет, хоть пляши на ней. Или кто подглядел? Хлеб, хлеб должен указать, кто это был, против хлеба устоять трудно.

Еще через два дня коврига исчезла! Не найдя ее на месте, Настена испугалась. Бессильно, со стоном опустила она на лавку и покачала головой: нет, не может быть. Не может этого быть! Наверно, зашел свекор или свекровь, увидели тут ковригу и прибрали домой. Вот и все объяснение. Настена кинулась на колени – на полу валялись хлебные крошки. Нет, не свекор и не свекровь, кто-то другой. В каменке, в холодной золе, Настена разворошила окурки.

С этого часа она словно бы выглядывала из себя: что же будет дальше? Справляла домашнюю работу, ходила на работу колхозную, оставаясь на людях такой же, какой была всегда, а сама все время озиралась, пугаясь каждого стороннего звука. Но ждать, когда не знаешь как следует, чего ждешь, было больше невоготу, и на субботу Настена затеяла баню. Семеновна отговаривала, ссылаясь на морозы, но Настена настояла на своем: она сама натаскает воды, сама протопит, им останется только помыться.

Она могла бы спроворить баню быстро, дело нехитрое, но нарочно не стала торопиться. Наколола пополам с сосновыми негарких березовых дров, позже обычного растопила каменку. День был холодный – морозы только еще начинали сдавать, – но спокойный и ясный. Поднимаясь от Ангары с водой, Настена невольно всякий раз посматривала на дым из трубы: его черный от березы, прямой столб уходил без ветра высоко и был виден издали. Она нагрела полный, сверх надобности, чан воды, помыла пол и полки, прикрыла трубу и уже в сумерках пошла звать стариков, не забыв сказать им, чтобы они прихватили с собой керосину для лампы.

Она была как во сне, двигаясь почти ощупью и не чувствуя ни напряжения, ни усталости за день, но делала все точно так, как и задумала. Дождалась стариков, собрала белье и на вопрос Семеновны, с кем пойдет мыться, соврала, что пойдет с Надькой. Обычно Настена звала с собой в баню кого-нибудь из соседок; смотреть на свое голое закипающее тело было больно и горько, на глаза наворачивались слезы. Но сегодня ей предстояло обойтись без подружки. В темноте, когда ночь еще не выстоялась и не посветлела, Настена добралась до бани, занавесила изнутри тряпкой окошечко и разделась, решив похлопаться наскоро, потому что ее загаданный час, по всей видимости, должен был наступить позже.

Помывшись, Настена вернулась домой, прибрала при лампе перед зеркалом волосы и сказала старикам, что пойдет посидеть к Надьке, с которой будто бы ходила в баню. К Надьке Настена и правда заскочила, но ненадолго и без всякого дела, лишь бы показаться на глаза. Она торопилась обратно в баню. Тихонько, по-воровски, подкралась к двери, опасаясь, что опоздала, и прислушалась, нет ли кого внутри, потом осторожно вошла. Баня еще не выстыла, и, чтобы не взопреть, Настена пристроилась на порожке. Если кто и появится, она успеет подняться и посторониться, а пока оставалось только ждать.

Из деревни доносились последние слабые голоса, лай собак, затем все стихло. На Ангаре изредка с тугим бегущим звоном покалывало лед, да вздыхала, остывая, баня. Настена сидела в полной темноте, едва различая окошко, и чувствовала себя в оцепенении маленькой несчастной зверюшкой. Что бы человеку здесь среди ночи делать? Она попыталась о чем-нибудь думать, что-нибудь вспомнить и не смогла: то, что просто было среди людей, здесь оказалось невозможным.

Позже, когда от двери стало сильно поддувать, она перешла на лавку.

Видно, она все-таки задремала, потому что не слышала шагов. Дверь вдруг открылась, и что-то, задев ее, шебурша, полезло в баню. Настена вскочила.

– Господи! Кто это, кто? – крикнула она, обмирая от страха. Большая черная фигура на мгновение застыла у двери, потом кинулась к Настене.

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

В деревне взнялись и затихли собаки.

2

Атамановка лежала на правом берегу Ангары и была всего на тридцать дворов – не деревня, а деревушка. Несмотря на свое звучное название, лежала она одиноко и потихоньку да помаленьку, еще с довоенных лет, хирела: уже пять изб – и избы крепкие, не какие-нибудь развалюхи, – стояли мертво, с заколоченными окнами. Почему мелели деревни в войну, и объяснять нечего, тут причина на всех одна, но из Атамановки люди начали сниматься еще раньше, особенно молодые, из тех, кто не успел зарастить своим хозяйством. Их сманивали к себе поселения побольше да пошумней, с видом на будущее, а у Атамановки его не было. Она построилась когда-то на отшибе, до самой ближней деревни по своей стороне, до Карды, где располагался сельсовет, к которому была приписана Атамановка, насчитывалось больше двадцати верст. Правда, до Рыбной на другом берегу Ангары было ближе, но Рыбная всегда держалась своих нижних соседей: там сельсовет, магазины, начальство, в ту сторону район, туда и шли со всякой нуждой, а в Атамановку заплывали редко. Мимо Атамановки шлепали пароходы, провозили новости – многое проходило мимо нее, маячившей на берегу тускло и сиротливо. Даже о войне здесь узнали только на другой день.

Судьба ее, надо сказать, не вечно была такой незаметной. Свое название Атамановка получила от другого, еще более громкого и пугающего – от Разбойниково. Когда-то в старые годы здешние мужички не брезговали одним тихим и прибыльным промыслом: проверяли идущих с Лены золотишников. Деревня для этого стоит куда как удобно: хребет здесь подходит почти вплотную к Ангаре, и миновать деревню стороной никак нельзя, хочешь не хочешь, а надо выходить на дорогу. В самом узком месте возле речки отчаянные головы и караулили ленских старателей – слава такая о деревне держалась прочно. От устной молвы название «Разбойниково» перекечовало в бумаги, но еще до Советской власти кому-то в волости оно показалось неприличным, и его заменили «Атамановкой» – и смысл вроде остается, и уши не коробит. Местный народ, кстати, с этим переименованием почему-то не согласился. Еще и теперь, спустя много лет, старики из Карды, из Рыбной, из других деревень, как сговорившись, повторяли одно и то же:

– Вся деревня занималась разбоем, а захотели на какого-то атамана свалить. Нет уж, не выйдет.

Настену в Атамановку судьба занесла с верхней Ангары. В голодном тридцать третьем году, похоронив в родной деревне близ Иркутска мать и спасаясь от смерти сама, шестнадцатилетняя Настена собрала свою малую, на восьмом году, сестренку Катьку и стала спускаться с ней вниз по реке, где, по слухам, люди бедствовали меньше. Отца у них убили еще раньше, в первый смутный колхозный год, и убили, говорят, случайно, целя в другого, а кто целил – не нашли. Так девчонки остались одни. Все лето Настена и Катька шли от деревни к деревне, где подрабатывая на ужин, где обходясь подаянием, которое давали ради маленькой и хорошенькой Катьки. Без нее Настена, наверно, пропала бы. Сама она походила на тень: длинная, тощая, с несуразно торчащими руками, ногами и головой, с застывшей болью на лице. Только Катька, для которой Настена осталась вместо матери, заставляла ее шевелиться, предлагать себя в работницы, просить кусок хлеба.

К осени сестры кое-как добрались до деревни Рютина, где, Настена помнила, жила тетка по отцу. Та поворчала, поворчала, но девчонок приняла. Настена, отдышавшись, пошла в колхоз, Катьку отправила в школу. К этому времени стало полегче: принесли свои огороды, поспели хлеба. Голод, когда есть чем лечить его, лечить нетрудно, и уже к зиме Настена

мало-помалу взялась поправляться. А на следующий год ухнул такой урожай, что не отъестся было бы стыдно. Постепенно у Настены разгладились ранние морщины на лице, налилось тело, на щеках заиграл румянец, осмелели глаза. Из недавнего чучела вышла невеста хоть куда. Там, в Рютиной, и встретил ее спустя два года Андрей Гуськов, чужой, но расторопный и бравый парень, сплавлявший на плотях горючее, которое брали в цистернах неподалеку от этой деревни. Сговорились они быстро: Настену подстегнуло еще и то, что надоело ей жить у тетки в работницах, гнуть спину на чужую семью. Доставив в МТС бочки с горючим, Андрей тут же, не мешкая, прикатил на пароходе обратно и увез Настену в свою Атамановку.

Настена кинулась в замужество, как в воду, – без лишних раздумий: все равно придется выходить, без этого мало кто обходится – чего ж тянуть? И что ждет ее в новой семье и в чужой деревне, она представляла плохо. А получилось так, что из работниц она попала в работницы, только двор другой, хозяйство покрупней да спрос построже. Гуськовы держали двух коров, овец, свиней, птицу, жили в большом доме втроем, Настена пришла четвертой. И вся эта тягость сразу свалилась на ее плечи. Семеновна давно уже ждала невестку, чтобы сделать себе наконец послабление, и, дождавшись, расхворалась, у нее стали сильно отекают ноги, ходила она тяжело, переваливаясь с боку на бок, как утка. Но хозяйкой оставалась она, всю жизнь Семеновна крутила это колесо, и сейчас другие руки, взявшиеся за него, казались ей и неловкими и ленивыми потому лишь, что это были не ее руки.

Характер у нее выказался не сладкий: то она принималась ворчать, не терпя ни возражений, ни оправданий, то в злости надувалась и не хотела сказать ни слова – надо было иметь каменное, как у Настены, терпение, чтобы не схватиться с ней и не разругаться. Настена обычно отмалчивалась, она научилась этому еще в то кусочное лето, когда обходила с Катькой ангарские деревни и когда каждый, кому не лень, мог ни за что ни про что ее обляять. Конечно, будь она из местных, из атамановских, живи тут же ее родня, которая при случае могла заступиться, не дать в обиду, то и отношение к ней было бы другое, но она, сирота казанская, неизвестно откуда взялась, принесла с собой приданого одно платьишко на плечах, так что и справу ей, чтобы показаться на люди, пришлось гоношить здесь же – вот как осело на душе у Семеновны, вот что в ненастную пору подливало ей масла в огонь.

Впрочем, с годами Семеновна свыклась с Настеной и ворчала все меньше и меньше, признав, что невестка ей попалась и покладистая, и работящая. Настена успевала ходить в колхоз и почти одна везла на себе хозяйство. Мужики знали только заготовить дров и припасти сена. Ну и если бы крыша над головой упала, тоже подняли бы, а скажем, принести с Ангары воды или почистить в стайке считалось неприличным для мужика, зазорным занятием. Семеновна на своих ходулях далеко достать не могла, всюду вертелась Настена, без которой уже нельзя было обойтись, и это поневоле смиряло свекровь. Одно она не хотела ей простить – то, что у Настены не было ребятишек. Попрекать не попрекала, помня, что для любой бабы это самое больное место, но на сердце держала, тем более что и Андрей у них с Михеичем остался единственным, за первого, второго и третьего, потому что две девчонки до него не выжили.

Бездетность-то и заставляла Настену терпеть все. С детства слышала она, что полая, без ребятишек, баба – уже и не баба, а только полбабы. Настена и не подозревала в себе этой порчи и пошла замуж легко, заранее зная бабью судьбу, радуясь самой большой перемене в своей жизни и немножко, задним числом, как это обычно бывает, жалея, что походила в девках мало. Андрей был с ней ласковым, называл кровиночкой, они на первых порах и не думали о ребятишках, просто жили друг возле друга, наслаждаясь своей близостью, и только. Ребенок мог бы этому счастью даже помешать. Но затем как-то исподволь, исподтишка, оттого лишь, что появилась опасность нарушения извечного порядка семейной маеты, возникла откуда-то тревога: то, чего вначале избегали и боялись, теперь начали караулить – будет или не будет? Шли месяцы, ничего не менялось, и тогда ожидание переросло в нетерпение, потом – в страх. За какой-то год Андрей полностью переменялся к Настене, стал занозистым, грубым, ни с того ни с сего мог обругать, а еще позже научился

хвататься за кулаки.

Настена терпела: в обычае русской бабы устраивать свою жизнь лишь однажды и терпеть все, что ей выпадет. К тому же виноватой в своей доле Настена считала себя. Лишь однажды, когда Андрей, попрекая ее, сказал что-то совсем уж невыносимое, она с обиды ответила, что неизвестно еще, кто из них причина – она или он, других мужиков она не пробовала. Он избил ее до полусмерти.

Правда, последний год перед войной они прожили легче, как бы начиная заново свыкаться друг с другом, хорошо теперь уже зная, что друг от друга можно ждать, и прибываясь к старинному правилу: сошлись – надо жить.

Ласки от Андрея Настена по-прежнему видела немного, но и дурить он стал заметно меньше. Настена и этому была рада: они еще молодые, со временем все наладится. И если бы не война, может, так бы оно и вышло, да началась война, покорежила и не такие надежды.

Андрея взяли в первые же дни. Настена поголосила, поголосила и смирилась. Не она одна, у других, оставшихся с ребятишками, беда похлеще. Кажется, впервые за все годы замужества ее успокоила и обнадежила своя бездетность. Зря она обижалась на судьбу, судьба ей выпала разумная, далеко вперед разглядевшая лихо, которое сейчас свалилось на людей, и заранее устроившая так, чтобы перемочь ей это лихо одной. Потом, в добрую пору, пойдут и дети, еще не поздно. Лишь бы вернулся Андрей. Этим она и жила, пока тянулась война, этим и дышала в то страшное время, когда никто не знал, что будет завтра.

Андрей долго воевал удачно, но летом сорок четвертого года вдруг пропал. Лишь через два месяца пришло от него из Новосибирска, из госпиталя, письмо, в котором он сообщал, что ранен и что после поправки на несколько дней должны отпустить домой. Это обещание и удержало Настену от поездки в Новосибирск, хоть поначалу она и собралась к мужику. Если отпустят, лучше увидеться дома – так они и рассчитывали. Но Андрей ошибся: поздней осенью он коротко и обиженно написал, что нет, ничего не выйдет, из госпиталя его выписывают, но отправляют обратно на фронт.

И снова пропал.

Перед рождеством в Атамановку нагрянули председатель сельсовета из Карды Коновалов и конопатый участковый милиционер по фамилии Бурдак, которого за глаза звали Бардаком. От Ангары они повернули жеребца прямо к избе Гуськовых. Настены дома не было.

– Какие имеете известия от сына? – строго, как на допросе, спросил Бурдак у Михеича.

Ему показали последние письма Андрея. Бурдак прочитал их, дал прочитать Коновалову и спрятал к себе в карман.

– Больше он о себе ничего не сообщал?

– Нет. – Растерявшийся Михеич наконец пришел в себя. – А че такое с им? Где он?

– Вот это мы и хотим выяснить – где он? Потерялся где-то ваш Андрей Гуськов. Даст о себе знать – сообщите нам. Понятно?

– Понятно.

Ничего не было понятно Михеичу. Ни ему, ни Семеновне, ни Настене.

А в крещенские морозы из тайника под половицей в гуськовской бане исчез топор.

3

– Молчи, Настена. Это я. Молчи.

Сильные, жесткие руки схватили ее за плечи и прижали к лавке. От боли и страха Настена застонала. Голос был хриплый, ржавый, но нутро в нем осталось прежнее, и Настена узнала его.

– Ты, Андрей?! Господи! Откуда ты взялся?!

– Оттуда. Молчи. Ты кому говорила, что я здесь?

– Никому. Я сама не знала.

Лица его в темноте она не могла рассмотреть, лишь что-то большое и лохматое смутно

чернело перед ней в слабом мерцании, которое источало в углах задернутое оконце. Дышал он шумно и часто, натягивая грудь, словно после тяжелого бега. Настена почувствовала, что и она тоже задыхается, настолько неожиданно, как Настена ни подозревала ее, свалилась эта встреча, настолько воровской и жуткой с первых же минут и с первых же слов она оказалась.

Он убрал наконец руки и чуть отступил назад. Все еще неверным, срывающимся голосом спросил:

– Искали меня?

– Милиционер недавно приезжал и с ним Коновалов из Карды. С отцом разговаривали.

– Отец, мать догадываются про меня?

– Нет. Отец думал, топор кто чужой взял.

– А ты, значит, догадалась? Она не успела ответить.

– Хлеб ты приносила?

– Я.

Он помолчал.

– Ну вот, встретились, Настена. Встретились, говорю, – с вызовом повторил он, будто ждал и не дождался, что она скажет. – Не верится, что рядом с родной бабой нахожусь. Не надо бы мне ни перед кем тут показываться, да одному не перезимовать. Хлебушком ты меня заманила. – Он опять больно сдавил ее плечо. – Ты хоть понимаешь, с чем я сюда заявился? Понимаешь или нет?

– Понимаю.

– Ну и что?

– Не знаю. – Настена бессильно покачала головой. – Не знаю, Андрей, не спрашивай.

– Не спрашивай... – Дыхание у него опять поднялось и запрыгало. – Вот что я тебе сразу скажу, Настена. Ни одна собака не должна знать, что я здесь. Скажешь кому – убью. Убью – мне терять нечего. Так и запомни. Откуда хошь достану. У меня теперь рука на это твердая, не сорвется.

– Господи! О чем ты говоришь?!

– Я тебя не хочу пугать, но запомни, что сказал. Повторять не буду. Мне сейчас податься больше некуда, придется околачиваться здесь, возле тебя. Я к тебе и шел. Не к отцу, не к матери – к тебе. И никто: ни мать, ни отец – не должен обо мне знать. Не было меня и нету. Пропал без вести. Убили где по дороге, сожгли, выбросили. Я теперь в твоих руках, больше ни в чьих! Но если ты не хочешь этим делом руки марать – скажи сразу!

– Что ты меня пытаешь?! – простонала она. – Чужая тебе, что ли? Не жена, что ли?

Настена с трудом помнила себя. Все, что она сейчас говорила, все, что видела и слышала, происходило в каком-то глубокому и глухом оцепенении, когда обмирают и немеют все чувства! и когда человек существует словно бы не своей, словно бы подключенной со стороны, аварийной жизнью. В таких случаях страх, боль, удивление, озарение наступают позже, а до тех пор, пока? человек придет в себя, в нем несет охранную службу трезвый, прочный и почти бесчувственный механизм. Настена отвечала и слабой, отстранившейся своей памятью сама же не понимала, как может она обходиться этими случайными и пресными, ничего не выражающими словами, – после трех с половиной лет разлуки, когда любой день грозил быть последним, и после того, что, оборвав этот срок, свалилось на них теперь?! Она не понимала почему сидит без движения, когда надо было бы, наверно, что-то делать – хоть обнять на первый раз и приветить мужа, встречу с которым голубила чуть не каждую ночь. Надо бы... но она продолжала сидеть как во сне, когда видишь себя лишь со стороны и не можешь собой распорядиться, а только ждешь, что будет дальше. Да и вся эта встреча – в бане среди ночи, отчаянной украдкой, не имея возможности взглянуть друг другу в лицо а только, как слепым, угадывать друг друга, с горьким и почти бессознательным шепотом, с настороженностью и страхом, – вся эта встреча выходила чересчур неправдашной, бессильной пригрезившейся в дурном забытии, которое канет прочь с первым же светом. Не может быть, чтобы она осталась на завтра, послезавтра, навсегда, потянула за собой и другие, столь же мучительные и несчастные встречи.

Тяжелой, подрагивающей рукой он погладил Настену по голове. Это было первое, похожее на ласку, прикосновение. Настена вздрогнула и сжалась, по-прежнему не зная, что делать и что говорить. Он убрал руку, спросил:

– Как вы тут хоть жили?

– Тебя ждали, – сказала она.

– Дождались. Дождались-ись. Герой с войны пришел, принимай, жена, хвастай, зови гостей.

Продолжать этот разговор было ни к чему. Так много всего свалилось на них одним махом, такой клубок неясного, нерешенного, запутанного громоздился перед ними, что подступаться к нему, откуда ни возьми, было страшно. Они долго молчали, потом Настена, вспомнив, предложила:

– Может, помоешься?

– Надо помыться, – торопливо и даже как будто обрадовано согласился он. – Ты же для меня баню топила, я знаю. Скажи, для меня?

– Для тебя.

– Я уж и не помню, когда мылся.

Он отошел к каменке, булькнул там в чане водой.

– Остыла, поди, совсем? – зачем-то спросила она.

– Сойдет.

Настена слышала, как он нашарил по памяти деревянный костыль у двери и повесил на него полушубок, как стянул у порожка валенки и стал раздеваться. Чуть различимая корявая фигура приблизилась к Настене.

– Ну что, Настена, один я не справлюсь. Подымайся, спину потереть надо.

Он повалил ее на пол. От бороды его, которой он тыкался Настене в лицо, почему-то пахло овчиной, и она все время невольно отворачивала лицо на сторону. Все произошло так быстро, что Настена не успела опомниться, как, взъерошенная и очумелая, снова сидела на лавке у занавешенного оконца, а на другой лавке, осторожно пофыркивая, плескался этот полужнакомый человек, ставший опять ее мужем. И ничего – ни утешения и ни горечи – она не ощутила, одно только слабое и далекое удивление да неясный, неизвестно к чему относящийся стыд.

Он помылся и стал одеваться.

– Надо было хоть белье тебе принести, – сказала Настена, все время заставляя себя не казаться чужой, подгалкивая себя к разговору.

– Черт с ним, с бельем, – отозвался он. – Я тебе сейчас скажу, что перво-наперво понадобится. Завтра отдохни, выспись, а послезавтра переправь-ка сюда мою «тулку», пока меня зверь не загрыз. Живая она?

– Живая.

– Ее обязательно. Спички там, соль, какую-нибудь посудину для варева. Сама сообразишь, что надо. Провиант к патронам у отца поскреби, да только так, чтоб не заметил.

– А что я ему скажу про ружье?

– Не знаю. Что хошь говори. Как-нибудь вывернешься... Запомни еще раз: никто про меня не должен даже догадываться. Никто. Не было меня и нет. Ты одна в курсе... Придется тебе пока подкармливать меня хоть немножко. Принесешь ружье – мяса я добуду, а хлеб не подстрелишь. Послезавтра приду так же попозже. Рано не ходи, смотри, чтоб не уследили. Теперь ходи и оглядывайся, ходи и оглядывайся.

Он говорил спокойно, ровно, голос его в тепле заметно отмяк, и все же в нем слышалось и нетерпение, и постороннее тревожное усилие.

– Погрелся, помылся, даже подфартило с родной бабой поластиться. Пора собираться.

– Куда ты пойдешь? – спросила Настена.

Он хмыкнул:

– Куда... Куда-нибудь. К родному брату, к серому волку. Не забудешь, значит, послезавтра?

– Не забуду.

– И подожди меня здесь, а там уговоримся, как дальше. Ну, я поехал. Ты немножко помешкай, сразу не вылазь.

Он зашуршал полушубком и примолк.

– Ты хоть сколько рада, что я живой пришел? – неожиданно спросил он с порога.

– Радая.

– Не забыла, значит, кто такой я тебе есть?

– Нет.

– Кто?

– Муж.

– Вот: муж, – с нажимом подтвердил он и вышел.

Мало что понимая, она вдруг спохватилась: а муж ли? Не оборотень ли это с ней был? В темноте разве разберешь? А они, говорят, могут так прикинуться, что и среди бела дня не отличишь от настоящего. Не умея правильно класть крест, она как попало перекрестилась и зашептала подвернувшиеся на память, оставшиеся с детства слова давно забытой молитвы. И замерла от предательской мысли: а разве не лучше, если бы это и вправду был только оборотень?

4

Андрей Гуськов понимал: судьба его свернула в тупик, выход из которого нет. Вперед еще есть какой-то путь, совсем, видно недалкий, пока не упруешься в стену, а поворотить назад уже нельзя... Ничего не выйдет. И то, что обратной, дороги для него не существовало, освобождало Андрея от излишних раздумий. Теперь приходилось жить только одним: будь что будет.

В эти первые, прожитые в родных местах дни больше всего его донимали воспоминания о том, как три с половиной года назад он уезжал отсюда на фронт. Вся череда почти двух недель от первого известия о войне до прибытия в Иркутск, где формировалась дивизия, вставала перед ним настолько живо и ярко, что становилось не по себе от ее близости, от ее словно бы вчерашней законченности. Память удержала даже чувства, которые он испытывал, и чувства эти, похоже, теперь повторялись: та же, что и тогда, была сейчас в нем оглушенность, неспособность соображать, что будет дальше, та же ненадежность всего, что с ним случилось, злость, одиночество, обида, тот же холодный, угрюмый и неотвязный страх – многое, вплоть до случайных настроений, было тем же, с одной лишь громадной разницей: все это теперь оказалось словно бы вывернутым своей обратной, изнаночной стороной, которая подтверждалась и обстановкой. Вот он там же, где был, откуда начинал свой поход, но уже не на правом, а на левом берегу Ангары, и тогда стояло лето, а сейчас глухая зима. Тогда он уходил на войну, теперь вернулся, тогда уходил вместе со многими и многими, теперь пришел назад один, своей, отдельной дорожкой. Судьба, сделав отчаянный вывертыш, воротила чего на старое место, но по-прежнему, как и тогда, во всю близь, во весь рост перед ним стояла смерть, зашедшая на этот раз для верности со спины, чтобы он не смог уйти. Он вообще существовал сейчас какой-то обратной, спячивающейся жизнью, в которой невозможно понять, куда ступишь следующим шагом. После этой его жизни воспоминания, похоже, остаться не могли.

Семь атамановских мужиков, призванных по первому набору, в числе которых был и Гуськов, уезжали из деревни на пяти ходках: провожающих набралось почти столько же, сколько фронтовиков. Но Андрей простился со своими дома: ни к чему растягивать слезы и причитания, а себе травить попусту душу. То, что приходится обрывать, надо обрывать сразу, так же сразу он надеялся когда-нибудь (а то до этого уже было недалеко) закончить жизнь, не хватаясь за надежды, которые не держат. Он обнялся с матерью, отцом и Настеной у ворот, прыгнул в ходок и понужнул коня, а отъезжая, выдержал не оглянуться; только за поскотиной, когда Атамановка скрылась из виду, он натянул вожжи и дождался остальных,

чтобы ехать одним обозом.

В Карде они пересели на пароход, к которому подгадывали, и спустились на нем в райцентр, а через день этот же пароход на обратном пути повез собранную со всего района команду в Иркутск. Рано утром проплывали мимо Атамановки. Карауля ее, не спали, еще издали принялись вразнобой кричать, не понимая, что и, главное, зачем кричат, но Андрей смотрел на деревню молча и обиженно, он почему-то готов был уже не войну, а деревню обвинить в том, что вынужден ее покидать. Мужики все же добились: на берег выскочили люди и тоже в ответ закричали, замахали платками, фуражками, но пароход шел далеко, и узнать кого-нибудь или услышать было нельзя. Андрею показалось, что он видел среди них Настену; он не был в точности уверен, что это она однако обозлился: зачем, ну зачем устраивать эту никому не нужную потеху? Простились, все, что следовало, сказали друг другу – достаточно, войну не заворотишь. Но знай он, что та фигура которую он принял за Настену, действительно Настена и была, ему, пожалуй, стало бы легче, а злость потому и проглянула, что он этого наверняка не знал. Невольная обида на все, что оставалось на месте, от чего его отрывали и за что ему предстояло воевать, долго не проходила, она и вызвала то обещание, которое он тогда дал, о котором помнил все эти годы и которое теперь ненароком сдержал. Не ради него он, конечно, вернулся, нет, но и оно сейчас, исполнившись, с самого начала не казалось пустым, и в нем чудилась какая-то приманчивая и достоверная сила, взявшаяся помогать Гуськову в его судьбе.

Пароход шлепал против течения трое суток, ехали шумно, ордой, всю отдавшись горькому веселью, хорошо понимая, что это последние свободные и безопасные дни. Андрей держался особняком, он не приучился к водке. Подолгу, как истукан, торчал на борту и смотрел перед собой. В разгаре было лето, все дни ходило по небу яркое солнце, катилась Ангара, от которой в воздухе стоял звон, и плыли, плыли мимо знакомые берега, деревни и острова, плыли и уплывали, скрываясь позади. При одной мысли, что он, быть может, видит все это в последний раз, у Гуськова схватывало сердце. Лучше было бы спуститься вниз и присоединиться к своим – не ему одному было тошно, или завалиться спать, подложив мешок под голову, забыться, потеряться, пока не поднимут по команде, но он не уходил и, донимая душу тоскливой пыткой, терзая и жалея себя, продолжал смотреть, думать и мучиться. И чем больше он смотрел, тем ясней и непоправимей замечал, как спокойно и безразлично к нему течет Ангара, как равнодушно, не замечая его, скользят мимо берега, на которых он провел все свои годы, – скользят, уходя к другой жизни и другим людям, к тому, что придет ему на смену. Его обидело: что же так скоро? Не успел уехать, оторваться, а уже позабыто, похоронено все, чем он был и чем собирался стать: значит, ступай и умирай, ты для нас конченный человек. Да неужели и впрямь конченный? Отказываясь, со взывавшим недобрый упрямством он вслух пообещал:

– Врете: выживу. Рано хороните. Вот увидите: выживу. Уж с вами-то ни черта не делается – увидите.

На фронте он оставил эту надежду. В первых же боях его ранило, но, к счастью, легко, пуля прошила мякоть левой ноги, и уже через месяц, прихрамывая, он вернулся в часть. Мысль о спасении казалась в то время бессмысленной, не он один прятал ее так далеко, что и сам себе не часто признавался, есть она в нем или нет: чтобы уберечь, не доставать на свет, под пули. Столько он перевидал рядом с собой смертей, что и собственная представлялась неминуемой: не сегодня – так завтра, не завтра – так послезавтра, когда подвернет очередь. Здесь, на войне, мирная жизнь, кому она выпадет, чудилась вечной, странно было думать, что она может длиться год за годом десятки лет, как у деревьев или камней: время здесь имело другие измерения.

Андрею Гуськову долго везло, только однажды еще до своего отбытия с фронта он не уберегся и, попав под бомбежку, был сильно контужен, взрывной волной ему начисто отбило слух, почти неделю он ничего не слышал, затем звуки постепенно вернулись. От контузии осталось смешное и досадное воспоминание: в лазарете его, глухого, прохватил звериный, ненасытный аппетит. Постоянно, каждую минуту, хотелось есть, в поисках еды он то и дело

натякался на всякие неприятности. Не слыша себя, он считал, что не слышат и его, и это его выдавало, когда он крался на кухню, чтобы раздобыть съестное, а когда он пытался договориться о добавочных порциях, на потеху выздоравливающим ему могли отвечать что угодно, он только хлопал глазами.

За три года Гуськов успел повоевать и в лыжном батальоне, и в разведроте, и в гаубичной батарее. Ему довелось испытать все: и танковые атаки, и броски на немецкие пулеметы, и ночные лыжные рейды, и изнуряюще долгую, упрямую охоту за «языком». Гуськов не привык, да и не мог привыкнуть к войне, он завидовал тем, кто в бой шел так же спокойно и просто, как на работу, но и он, сколько сумел, приспособился к ней – ничего другого ему не оставалось. Поперед других не лез, но и за чужие спины тоже не прятался это свой брат солдат увидит и покажет сразу. В «поиске», когда захватывающая группа в пять-шесть человек кидается в немецкую траншею, вообще не до хитростей – тут уж либо пан, либо пропал, а поддержишься, побережешься, погубишь и себя, и всех. Среди разведчиков Гуськов считался надежным товарищем, его брали с собой в пару, чтобы, подстраховывать друг друга, самые отчаянные ребята. Воевал, как все, – не лучше и не хуже. Солдаты ценили его за силушку – коренастый, жилистый, крепкий, он взваливал оглушенного или несговорчивого «языка» себе на горбушку и тащил, не запинаясь, в свои окопы.

В лыжном батальоне Гуськов ходил под Москвой, весной на Смоленщине попал в разведчики, а в батарею его определили уже в Сталинграде, после контузии. Здесь, в дальнотой артиллерии, когда пошли в наступление, стало полегче.

К зиме сорок третьего года ясно начал проглядывать конец войны. И чем ближе к нему шло дело, тем больше росла надежда уцелеть – уже не робкая, не потайная, а открытая и беспокойная. Столько они, кто дрался с первых дней войны, вынесли и выдержали, что хотелось верить: должно же для них выйти особое, судьбой данное помилование, должна же смерть от них отступить, раз они сумели до сих пор от нее уберечься. И здесь, на войне, чудился некий спасительный испытательный срок: выжил – живи. Порой, в легкие, утешные минуты, на Гуськова находила счастливая уверенность, что ничего плохого с ним больше сделаться не может, что вот так же, как сейчас, потихоньку да помаленьку, не тратясь, доберется он до конечного, выстрадавшего, вдесятеро оплаченного дня, когда объявят победу и повезут по домам. Но светлые эти, солнечные минуты проходили, и тогда незаметно подступал страх: тысячи и тысячи, жившие той же надеждой, гибли на его глазах день ото дня и будут гибнуть, он понимал, до самого последнего часа. Откуда ж им браться, как не из живых – не из него, не из других? На что тут рассчитывать? И, поддаваясь страху, не видя для себя впереди удачи, Гуськов осторожно примеривался к тому, чтобы его ранило – конечно, не сильно, не тяжело, не повредив нужного, – лишь бы выгадать время.

Но летом сорок четвертого года, когда прямо перед носом зачехленной уже, готовой к переезду батареи выскочили немецкие танки, Гуськова ранило совсем не легонько. Почти сутки он не приходил в себя. А когда очнулся и поверил, что будет жить, утешился: все, отвоевался. Теперь пусть воюют другие. С него хватит, он свою долю прошел сполна. Скоро ему не поправиться, а после, когда встанет на ноги, должны отпустить домой. Все – плохо ли, хорошо ли, но уцелел.

Без малого три месяца провалялся Андрей Гуськов в новосибирском госпитале. Грудь, из которой дважды доставали осколки, долго не закрывалась, не заживала. Из дому, поддерживая, прислали посылку, потом другую. Настена просилась приехать, но он рассудил, что ехать и тратиться на дорогу незачем. Все равно скоро нагрянет сам. Солдаты, которые лежали в палате по соседству, поддерживали его в этой уверенности; раненые заранее знали, кому после госпиталя ехать домой подчистую, кому на побывку, кому возвращаться на фронт. Дней на десять отпустят, – определили Гуськову, – не меньше. – Ждите. Жди, Настена! Он теперь и поверить не мог, что когда-то по пустякам обижал ее: во всем свете не было для него бабы лучше, чем Настена. Вернется, и заживут они, – знал бы кто, как они заживут! После войны наступит другой свет и другой мир для всех, для всех, а

для них – особенно. Ничего они до войны не понимали, жили, не ценя, не любя друг друга, – разве так можно?!

Но в ноябре, когда подошло время выписки, время, которого с таким нетерпением он ждал и ради которого чуть ли не лизал свои раны, его оглушили: в часть. Не домой, а в часть. Он настолько был уверен, что поедет домой, что долго ничего не мог сообразить, решив, что произошла ошибка, потом побежал по врачам, стал доказывать, горячиться, кричать. Его не хотели слушать. Можешь воевать – и точка. Его выпроводили из госпиталя, натянув обмундирование и сунув в руки солдатскую книжку и продаттестат. Топай, Андрей Гуськов, догоняй свою батарею, война не кончилась.

Война продолжалась.

Он боялся ехать на фронт, но больше этой боязни были обида и злость на все то, что возвращало его обратно на войну, не дав побывать дома. Всего себя, до последней капли и до последней мысли, он приготовил для встречи с родными – с отцом, матерью, Настеной, – этим и жил, этим выздоравливал и дышал, только это одно и знал. Нельзя на полном скаку заворачивать назад сломаешься. Нельзя перепрыгнуть через самого себя. Как же обратно, снова под пули, под смерть, когда рядом, в своей уже стороне, в Сибири?! Разве это правильно, справедливо? Ему бы только один-единственный денек побывать дома, унять душу – тогда он опять готов на что угодно.

И Настену не пустил – не дурак ли? Знать бы заранее, вызвал бы ее к этому сроку, повидал – все легче. Она бы и проводила, а когда провожают надежней: что-то в человеческой судьбе имеет глаза, которые запоминают при отъездах, – есть к кому возвращаться или нет. Все, как на вред, не туда поехало. Если и дальше так пойдет, не живая ему на свете. Уложат в первом же бою.

Он думал о госпитальном начальстве словно о какой-то потусторонней жестокой воле, которую человеческими силами не выправить, как невозможно, скажем, очурить грозу или остановить град. Один, самый главный, бог с бухты-барахты решил, другим пришлось соглашаться. Но он-то живой человек почему с ним не посчитались? Никто, правда, ничего ему не обещал, он обманул себя сам. Но отпускали же, отпускали, он видел, знал, что отпускали, – как было не обмануться?!

Неужели действительно обратно? Рядом ведь, совсем рядом. Плюнуть на все и поехать. Самому взять то, что отняли. Самовольничали, бывало, он слышал, и ничего, сходило. А ну как не сойдет? А не сойдет – туда ему и дорога. Он не железный: больше трех лет война – сколько можно!

На станции он пропустил один состав, потом второй... Мысли Гуськова путались, терялись, он не знал, что делать. И оттого, что не мог ни на что решиться и тратил зря время, злился еще больше. Получая по продаттестату паек, он разговорился в очереди с маленьким веселым танкистом в шлеме и на костылях, с подогнутой, толсто обмотанной правой ногой. Танкист добирался в Читу, на восток.

– А тебе куда? – спросил он Гуськова.

Гуськов неожиданно ответил:

– В Иркутск.

– Вместе поедем, – обрадовался танкист.

Так, в самый последний момент, посадив своего нового товарища, Гуськов запрыгнул вслед за ним в поезд, идущий на восток. Будь что будет. Если сцапают, скажет, что собрался лишь до Красноярска, затем до Иркутска, решил обернуться за два-три дня – не страшно, вывернется. Иногда, задумываясь о своей выходке, Гуськов даже хотел, чтобы его сцапали и завернули обратно. Но в таких случаях везет: никто его не остановил. Поезда по-прежнему были переполнены, и все в основном народом военным, нахрапистым, к которому подступиться непросто.

Но, проехав до Иркутска больше трех суток, Гуськов не на шутку перепугался. Если двигаться дальше – дня тоже не хватит. И двух не хватит зима. А возвращаться с полдороги – зачем тогда затевал все это, зачем изводился, рисковал, настырничал, кому что хотел

доказать? Да и не поздно ли возвращаться? Гуськов вспомнил показательный расстрел, который ему довелось видеть весной сорок второго года, когда он только что пришел в разведку. На большой, как поле, поляне выстроили полк и вывели двоих: одного – самострела с подвязанной рукой, уже пожившего, лет сорока, мужика, и второго – совсем еще мальчишку. Этот тоже захотел сбегать домой, в свою деревню, до которой было, рассказывали, верст пятьдесят. Всего пятьдесят верст. А он вон откуда метнулся. Нет, не простят, даже штрафбатом не отделаться. Он не мальчишка, должен был понимать, на что идет.

Вспомнил еще он, с какой ненавистью и брезгливостью смотрели солдаты на самострела. Мальчишку жалели, его – нет. «Шкура! – говорили. – Ну и шкура! Всех хотел перехитрить».

А он, Гуськов, чем лучше других? Почему они должны воевать, а он кататься туда-обратно – вот как рассудят, вот что поставят ему в вину. На войне человек не волен распоряжаться собой, а он распорядился, и по головке его за это, ясное дело, не погладят.

В Иркутске, растерянно бродя по вокзалу, он столкнулся с глазастой, пронырливой бабенкой, которая согласилась взять его на ночевку и привела к себе, далеко за город, в предместье. Она же сама, без подсказки догадавшись, что солдатик не знает, куда себя пристроить, подтолкнула его наутро к немолодой уже, но чистенькой, гладенькой немой женщине по имени Таня. У Тани он просидел в оцепенении и страхе весь день, все собираясь подняться и куда-нибудь, в какую-нибудь сторону двинуться, просидел так же другой, а потом и вовсе застрял, решив, что ему лучше переждать, пока его окончательно потеряют и дома, и на фронте.

У немой на краю предместья стояла своя избенка. Работала Таня уборщицей в госпитале, бегала туда на дню два раза – рано утром и вечером – приносила с собой завернутые в тряпицу нарезанные ломти хлеба, а в стеклянной баночке – кашу или суп. Хорошо еще, что ей не надо было ничего объяснять, не надо было вообще разговаривать; как по заказу, на удивление удобно и удачно ему подвернулась женщина, у которой бог отнял слово. Сказать ему нечего было даже самому себе. Порой, забывшись, он не понимал, как, почему здесь очутился, что его сюда привело, затем вдруг начинал видеть каждый свой шаг к поезду и каждый свой час в поезде до того близко и ясно, что скребло, надрывая душу. Он все еще был не в состоянии прийти в себя от случившегося и то подолгу сидел неподвижно, с пустым лицом, уставившись в одну точку, то срывался и принимался вышагивать, стараясь унять навалившуюся боль; избенка от его тяжелых шагов сотрясалась, а он все метался и метался из угла в угол и никак не мог успокоиться. Он как-то враз опостылел себе, возненавидел себя, хорошо понимая, что в том положении, в каком он оказался, хлопот с собой не оберешься.

И это чувство, а вернее, это самочувствие, это отношение к себе обложило его надолго.

Таня была на редкость ласковая и заботливая баба: Она ничуть не страдала от своей немоты, не озлобилась, не отшатнулась от людей; ни разу, сколько Гуськов жил, он не заметил ее угрюмой или чем-то недовольной. Лицо ее не было веселым, но оно было спокойным и добрым, готовым в любой момент на улыбку. Казалось, немота ей дана не в наказание, а в облегчение. С самого начала Гуськов не мог отделаться от ощущения, что она знает о нем все. Знает и жалеет его. Точно так же ему представлялось, что он очутился у Тани не по своей воле, что его привела сюда чья-то указующая, руководящая им рука. Зачем только – чтобы помочь или осторожно, постепенно погубить?

Возвращаясь с работы, Таня доставала свои баночки и сверточчки и, устроившись напротив Гуськова, жадно, с любопытством и удовольствием смотрела, как он ест. Наевшись, он в благодарность легонько хлопал ее, будто мужика, по плечу. Счастливая, растревоженная этой грубоватой лаской, она ловила его руки и прижимала к своей щеке, затем принималась что-то показывать, но он не понимал. Горячась, она маячила на пальцах быстрее, торопливей – он мотал головой и отворачивался. Тогда, чтобы успокоить его, она оставляла попытки объясниться и виновато протягивала к нему руки.

Со временем Таня все же научила Гуськова разбирать многие свои знаки. Она втолковывала ему их с той же любовью и терпением, с какой ребенка учат говорить. Но ему была неприятна эта немая азбука, и он, как мог, отлынивал от нее. Остаться здесь надолго он не собирался. По ночам, когда Таня прижималась к нему, Гуськову не на шутку представлялось, что он слышит ее обессиленный и подталкивающий шепот – те самые слова, которые вырываются в таких случаях у всех баб. Он пытливо замирал и, веря, что ошибается, не мог все-таки освободиться от недоброго чувства, что Таня – не та, за кого она себя выдает. Но и он, и он теперь был неизвестно кто. Все в нем сдвинулось, перевернулось, повисло в пустоте. Ехал ненадолго – застрял совсем, думал о Настене – оказался у Тани. Об остальном и вовсе было страшно рассуждать. Расхлебывай – не расхлепать, кайся – не раскаяться.

Через месяц ему стало совсем невмоготу. Хоть на смерть, но дальше. Поздним вечером, когда Таня убиралась в госпитале, он сбежал от нее. Дороги назад теперь ему не было, дорога оставалась одна – домой.

От Иркутска приходилось осторожничать изо всех сил. Показываться среди бела дня в деревнях он себе запретил: мало ли кто может повстречаться? Отсиживался на заимках, в зимовьях, в зародах сена, высматривал и пугался каждой фигуры, глухо матерился, замерзая и проклиная себя, а ночью, когда затихала жизнь, припускал со всех ног. Хорошо еще, что дни стояли короткие, спичечные.

Наконец в одну из крещенских ночей добрался он до Атамановки, остановился перед ее верхним краем и усталым, изможденным от снега взглядом окинул расходящиеся на две стороны белые крыши домов. Никаких чувств от встречи с родной деревней он не испытывал – не в состоянии был испытать. Постояв немного, он спустился к Ангаре и по льду, не видя из-под яра деревни, добрал до своей бани. Там, едва притворив за собой дверцу, он упал навзничь на пол и долго лежал неподвижно, как мертвец.

Под утро, еле волоча ноги, он поплелся на другую сторону Ангары. На плече он тащил лыжи, за поясом у него болтался топор.

Укрылся Андрей Гуськов в Андреевском, в старом зимовье возле речки. Расшурудил давно не троганную печку, вскипятил в манерке чаю и впервые за много волчьих дней согрелся. Через полчаса его вдруг стало сильно трясти, он видел по рукам и ногам, как ходит весь ходуном, – то ли тело, долго не знавшее тепла, набрало его сразу чересчур много, то ли сказывалось нервное напряжение, постоянное ожидание вот этого мига, когда можно будет наконец расслабиться, не остря каждую минуту глаза и уши, и отдохнуть.

Еще в Иркутске, прикидывая, где ему возле Атамановки приткнуться, он выбрал именно эту зимовейку. Стоит она как нельзя лучше, в глубоком, загнутом за гору распадке, откуда не подняться дыму, топи хоть круглые сутки. Кроме того, рядом, в двух шагах, речка, и по наледи сюда можно добираться, не оставляя следа.

Ничего не поделаешь, теперь приходилось думать прежде всего об этом. Удобно, конечно, что за Ангарой, сюда и в прежние годы мало кто заглядывая, а сейчас и подавно никто не полезет. Даже для бакенщика за островом не было работы: пароходы ходили по широкому, правому рукаву.

Атамановские поля и уголья испокон веку лежали на своей стороне, их и там хватало с избытком. Охота, рыбалка, любой промысел тоже были под своим боком, места к Лене я по зверю, и по ореху, и по ягоде считались богаче, поэтому за реку плавали редко. Остров напротив деревни, правда, косили, а заодно и обирали от ягод, он так – Покосным – и назывался.

Но еще до японской войны пришел в Атамановку из Расеи переселенец Андрей Сивый с двумя сыновьями. Пообсмотрелся, поогляделся и, на удивление мужикам, выбрал себе место для хозяйства за Ангарой. Избу поставил, как все люди, в деревне, а целину для пашни разодрал здесь. Особенно много ему корчевать и не пришлось, полян и прогладей, удобных для работы, тут было достаточно.

Срубил два зимовья: одно у речки, поближе к покосам, второе повыше, на взлобке, километрах в двух от первого, и повел хозяйство, да еще как повел!

С тех пор край этот и стали называть Андреевским, по имени Андрея Сивого.

Сам он к колхозной поре успел умереть, один из его сыновей не пришел с германской, а второго в тридцатом году раскулачили и вместе с семьей куда-то выслали. Так и не пустил переселенец Андрей Сивый корни на новой земле.

Поля его, как и следовало ждть, колхоз забросил. Стоило ли ради нескольких гектаров снаряжать людей и весной, и летом, и осенью к черту на кулички? Переплавлять через Ангару сеялки, жатки? Заводить ради этого паром? Действительно, стоило ли?

И вот теперь Андрей Гуськов должен был помянуть добрым словом переселенца Андрея Сивого, давшего ему удобное со всех сторон и надежное пристанище.

Если его жизнь здесь затянется, нижнее зимовье годится только до лета. Затем придется перебираться в верхнее или куда-нибудь еще – на тот случай, если сюда вдруг вздумает заглянуть рыбак или какая другая беспокойная душа.

И он решил: надо завтра же сходить к верхнему зимовью, посмотреть, что с ним случилось. Лыжи есть. По речке он поднимется вперед, потом на лыжах сделает крюк и пойдет с другого конца. Надо как-то устраиваться, если хочешь жить, оглядываться, что у него есть, с чем начинать новую жизнь. Ружьишко бы. Надо объявиться Настене, больше никому. Один он пропадет.

Вяло поразмыслив обо всем этом и чуть успокоившись от бившей его дрожи, он подкинул еще в печурку, свалился на нары и спал без просыпу сутки кряду, до утра следующего дня.

5

Вечером, как никогда ранняя в этом году, была подписка на заем, и Настена размахнулась на две тысячи. Только один Иннокентий Иванович из деревни дотянул до этой цифры, но у Иннокентия Ивановича, всякий знал, денег куры не клюют, его так и звали: Иннокентий Карманович, а из чего, из каких шишей собиралась рассчитываться Настена, она и сама не представляла. Михеич занемог или отговорился хворью, и на собрание пошла Настена, а о чем, по какому вопросу оно будет, заранее не сказали. И вот нате – бухнула. Уполномоченный похвалил, народ подивился, а Настена и сама испугалась своей смелости, но слово, как известно, не воробей, вылетит – не поймашь. Отступить было поздно. Какой-то понимающий голос изнутри успокоил Настену, что она делает правильно. Коль сказала, значит, что-то подтолкнуло ее так сказать, неспроста это вышло. Может, хотела облигациями откупиться за мужика своего... Кажется, о нем она в это время не думала, но ведь мог и за нее кто-то подумать.

Михеич, как пришла и заикнулась про заем, сразу спросил:

– Ну и на сколь?

– На две тыщи.

Он вскинул от починки, за которой сидел на лавке, голову и не поверил:

– Ты че, дева, со мной шутки шутишь?

– Какие шутки...

– Ас ума не спятила? Они, может, у тебя есть? Может, спрятанные лежат?

– Нету.

– Чем ты в таком разе думала? Где ты их собираешься брать? Меня или ее, – он кивнул на печку, где лежала Семеновна, – может, хочешь загнать? Дак нас никто даром не возьмет.

– Сказали, в последний раз. Для победы.

– Для победы...

На печи завозилась Семеновна, высунула голову:

– Це, це она говорит?

– Говорит, что богатые сильно стали. Что денег много накопили. Так много, что девать некуда.

Настена пошла на свою половину, за ситцевую занавеску, где они с Андреем спали

раньше и где до сих пор стояла ее кровать. Настена знала, что Михеич покипит, покипит и остынет, а свекровь, когда разберется, что к чему, заведется надолго, ее пару хватит на месяц, а то и больше. Черт с ними! Выплатит она как-нибудь эти деньги, что-нибудь потом придумается. И собрание не последнее... Зато благодаря подписке заработала она право завтра ехать в Карду, и две тысячи вышли ей тут козырным тузом, без них у нее, конечно, ничего бы не получилось.

Она все рассчитала правильно. После собрания, видя, что Нестор, председатель колхоза, доволен подпиской – спущенную цифру подняли, не уронили, – с улыбочкой, что твоя именинница, подкатила к нему:

– Нестор Ильич, – Даже повеличала, чтобы подольститься, – кто завтра товарища уполномоченного поедет отвозить? Нестор хитро прищурился на нее и окликнул:

– Товарищ уполномоченный, а товарищ уполномоченный! Тут вот наша сегодняшняя ударница изъявляет желание с тобой завтра до Карды прокатиться. Как ты – не против?

Подошел уполномоченный, какой-то мятый весь, подержанный мужичонка с пучками волос на голове, и заворковал, заглядывая Настене в глаза:

– Какой же мужчина будет против? Я даже мечтать о таком провожатом не надеялся.

Нестор по-свойски хлопнул его по плечу:

– Ты только обратно ее потом отпусти. – И подмигнул Настене. – Долго не держи, а то у нас и так тут работать некому.

Завтра она поедет в Карду. Предстояло еще сообщить эту новость Михеичу, но лучше утром, на сегодня ему хватит и двух тысяч. Господи, что у нее теперь за жизнь пойдет?! Что с ними будет?! Что будет?!

...Той ночью, о которой уговорились в первую встречу, Настена отнесла Андрею ружье. Отыскала и патроны, но провианту у Михеича не было, и она с трудом наскребла на два-три заряда. Этого, конечно, мало, Андрей так и сказал, но собирать по деревне она боялась: тут же передадут свекру, и он всполошится. Деревня маленькая, и кто к кому вчера ходил за солью, кто у кого занимал до выпечки ковригу хлеба, знают все. Настена и так тайком от Михеича сняла в амбаре со стены ружье, завешанное одеждой; хватится неизвестно, что будет. Пока об этом не хотелось даже думать.

Андрей на этот раз в бане показал себя совсем другим человеком. Не страшал ее, не вздрагивал при каждом звуке, а сидел молча, потерянно, убито, сидел и не мог ничего сказать. Ей до того стало жалко его, что она чуть не разревелась. Уходя, он открылся:

– Выберешься, прибегай ко мне в Андреевское, в нижнее зимовье. Я там. И попросил дрогнувшим голосом: – Прибегай, Настена. Я буду ждать. Но только чтоб ни одна собака тебя не углядела.

Ради уполномоченного дали доброго коня, Карьку, на котором ездил сам Нестор. Настена запрягла его в председательскую же кошевку, подкинула в нее сена и подвернула Карьку к избе Нестора, где ночевал уполномоченный. Там еще только усаживались за чай, и Настена поехала к себе, чтобы сразу собраться и больше домой не возвращаться.

Утром, когда поднялись, Михеич как будто даже обрадовался тому, что Настене выпала эта поездка. В доме вышел керосин, и уже дважды Михеич воровски приносил его в бутылке из своей конюховки, да еще раз бегала прямо с лампой Настена к Надьке. И спички пора подновить, соль. Была надежда и на мыло, но надежда слабая, давно уж его не видели в глаза, стирали щелоком. В Атамановке с двадцатого года, когда партизан Гаврила Афанасьевич утопил в проруби торговку Симу, державшую лавку, негде было гвоздя купить, и за всякой даже чепуховой надобностью приходилось снаряжаться в Карду.

Но что особенно вышло удачно – Михеич сказал:

– И посмотри там, дева, в охотке пороху да дроби. Оно и стрелять уж с какой поры не стреляю, а про запас иметь надо. Может, по весне козуля в огород заскочит.

Он вынес из кладовки железную банку под керосин и бросил к ногам Настены свою собачью доху.

– Седни-то обратно ждать, нет?

– Не знаю. Как магазин. Как обернусь.

– Но-но. Не седни, дак завтра. – И не утерпел, вспомнил: – Не могла ты вчерась с самого утра куда-нибудь ухлестать. Не навязала бы мне на шею эти две тыщи. Шутка ли? А? Молчишь, дева? Ты бы вчера лучше помолчала или вполтину мене язык-то свой высывывала, а сегодня можно и поговорить. Ладно, езжай с богом, езжай. И зайди там еще в сельсовет, узнай, нет ли чего нового про Андрея. И на почту загляни. Может, письмо лежит или бумага какая.

Семеновна уж в который раз зудила с печки:

– Я бы где же одна ш чужим мужиком поехала. Да ишо по нонешним-то временам. О гошподи! Не знают, на кого и вешаться. – Половину букв Семеновна не выговаривала. – Ить он за кошевкой вшо дорогу не побежит, ить он ш ей рядом шядет.

– Ладно, ладно, старая, не выдумывай, – останавливал ее Михеич. Лежишь – ну и лежи себе, не насбирывай что попало. Нашла за кого бояться за Настену!

Добрая душа Михеич. Не он – Настене в эти годы пришлось бы совсем худо. Семеновна готова держать ее на привязи, от работы да от хозяйства не пускать ни на шаг. А на кого, спрашивается, тут заглядываться, когда на всю деревню один мужик, да и тот припадочный Нестор, которого и на войну-то из-за болезни этой не взяли и за которым в четыре глаза смотрит, в шесть рук хватается собственная баба. Михеич сам выпроваживал Настену за дверь: иди, иди, дева, к бабам на посиделки, поговори, посмейся, ты молодая, чего с нами, со стариками, киснуть.

Добрая душа Михеич, но скоро, похоже, разладится и с ним. Хватится он ружья, хватится одного, другого, а ей и ответить нечего. На воров сваливать нельзя: пойдет шум, начнут допытываться, доискиваться, и всплывет у кого-нибудь нечаянная догадка: почему воруют только у Гуськовых? Не свой ли человек рядом ходит, не своим ли пользуется, зная, где что лежит? Андрей запретил даже близко намекать о себе отцу. Вот тут и выкручивайся. Семеновна уж потеряла на днях ковригу, которую Настена унесла Андрею во вторую встречу, – пришлось придумать, что заняла Надька. А что будет дальше?

Поэтому в Карду Настене надо было позарез. Везла она с собой в отдельном узелке шерстяную вязаную кофту и, на всякий случай, если не позарятся на кофту, дорогую и красивую серую оренбургскую шаль, которую Андрей купил ей еще в первый год, как сошлись. Везла, чтобы обменять на муку. Картошки с ведро она Андрею утащила, а муку отсыпать побоялась: ее и всего-то в ларе осталось квашни на две. Будет у мужика мука – все легче: можно стряпать лепешки и потихоньку прикусывать. Обменивать она станет как бы для эвакуированной Маруси.

Карда – деревня большая, и концы в воду там спрятать можно. Кофту Настена, кстати, у Маруси и выменяла в прошлую зиму, так что тут правду от неправды почти не отличить. Вся Карда знает, что Маруся со своими ребятишками всю войну только тряпками и спасалась.

Выехали уж поздно, когда поднялось оплывшее прозрачное солнце. Мороз после крещенской заверти давно отпустил, утро было прохладное, но ясное и податливое к теплу, чувствовалось, что днем отмякнет еще больше. Карька сразу от деревни взял ходко и не терял рыси, кошевка по накатанной дороге скользила, как по льду, весело поскрипывая полозьями. От полей, покрытых снегами, поднималась парная синь, в воздухе перед окоемом мерещились стоячие белесые полосы. На голых березах сидели молчаливые вороны и чистили крылья, по-куриному оттопыривая их на сторону. Все вокруг, пригревшись, дышало свободно и жадно. До весны еще жить да жить, а она уже сказывалась, обещалась быть.

Настена бросила доху в ноги уполномоченному и встала у головок на колени, лицом вперед. От подков в лицо летел снег; Настена жмурилась, но не отвертывалась. Эта быстрая, с ветерком, езда, этот, казалось, протиснувшийся не в свой черед, словно специально для нее выдавшийся, тронутый весной день вызвали в Настене возбуждение, нетерпение, желание делать что-то наперекор всем, даже себе. Хватит, насиделась курицей в курятнике – вперед, Настена! Не бойся, Настена, – вперед! Радость твоя теперь должна быть особой радостью,

твоя печаль от всех должна быть далеко. А ты не трусь: гони, скачи, не оглядывайся.

Уполномоченный лез с разговорами – она неохотно отвечала. Есть же такие мужики: все вроде на месте, а не мужик, одна затея мужичья. Вот и этот такой – ему только на облигации баб и подписывать. Не говорит, а всхлипывает, и лицо как застиранное: сколько раз за жизнь умывался – все, как на материи, осталось на нем, вот-вот местами покажутся дырки.

Кончились поля, проехали речку, и с обеих сторон встал вековой ельник. Здесь было тихо и мертво – ни ветерка, ни собственного звука, только цокал копытами Карька. Лишь изредка с веток, дымя, опадал снег да чуть подрагивали в вышине сходящиеся над дорогой острые верхушки деревьев – вот и вся жизнь.

Но уполномоченный здесь неожиданно осмелел. Сидел, сидел и вдруг схватил Настену сзади за ноги, повалил на себя и захрюкал. Настена ловко сама не думала, что так сумеет, – вывернулась и тут же вывалила его из кошевки в снег; Карька испугался и поддал, а Настена не стала его удерживать: пусть промнется товарищ уполномоченный, погорячит свою кровушку ножками. Три с половиной года, как доска, жила одна, но на такого ни за что никогда не позарилась бы. А теперь у нее есть мужик, не этому чета, как-нибудь успокоит.

Уполномоченный подбежал, запыхавшись, и, ничего не поняв, приняв Настенино сопротивление за игру, снова полез к ней. Пришлось осадить его как следует. Он захопал глазами и притих, а через полчаса, словно вывернувшись, уже хвастал женой, рассказывал о ребятишках. Настена успокоилась – давно бы так – и заторопила Карьку.

В Карду приехали засветло, магазин, на счастье, был открыт. И тут повезло: оказалось, что есть и керосин, и провиант – самое главное, чем можно прикрыться перед Михеичем. И сразу же явилась отговорка, которую она представит свекру: мол, в первый день керосину не было, ждала, когда привезут. Против такой причины возразить нельзя. Мылом Настена, конечно, не разжилась, а спички и соль купила. Присмотревшись, выглядела еще свечи и взяла пять штук – откуда, из какой церкви их сюда занесло, неизвестно. Сроду Настена не помнила, чтоб в сельпо продавали свечи, а тут, как по заказу, лежат, горюют, уже старые, почерневшие, погнутые. Три она отвезет домой, а две оставит Андрею – все будет мужику чем посветить, когда понадобится, все иной раз станет веселее.

Правду говорят: коль повезет, то повезет до конца. Вечером Настена легко обменяла кофту на полпуда муки, шаль не пришлось даже показывать. Это так ее обрадовало, что на ночь глядя она засобиралась было обратно, да, слава богу, одумалась. Ночью спала и не спала, слышала сквозь стены, как хрумкает сено Карька, как отряхивается он от мороза и перебирает ногами. Помаялась, помаялась, тихонько поднялась, запрягла Карьку, тайком от хозяйки, знакомой солдатки, у которой остановилась, подбросила в кошевку сена на день коню и выехала. Ни одна собака не брехнула ей вслед, ни один звук не отделился от пристывшей во сне деревни.

За последними избами Настена потянула коня вправо, на Ангару. Карька непонимающе остановился: дорога домой шла прямо. Озлясь, Настена огрела его вожжами. Опять, как и вчера, ее охватило нетерпение, от него она вся тряслась, как в лихорадке, и готова была выскочить из саней и бежать поперед Карьки. Скорей, скорей! Знала, что нельзя гнать коня через Ангару: угодит где-нибудь в расщелину и останется без ноги, – и все-таки погнала. Она торопилась затемно, чтобы ее не увидели, проскочить Рыбную. Сердце колотилось во всю мочь, и, поддаваясь ему, Настена подпрыгивала, вертелась на подстеленной сверху дохе, размахивала вожжами и выкрикивала какие-то непонятные и жуткие слова. Скорей, скорей...

Все скорей, все, что есть и что будет!

И лишь когда Рыбная осталась позади, она попридержала Карьку и опустила вожжи. Теперь недалеко. Вся ее лихорадка как-то разом пропала, на душу пала пустота. Где-то в груди горчило, будто она наглоталась дымом, а отчего, Настена не знала.

По тому, как потускнела ночь, она поняла, что скоро начнет светать.

Она ехала и думала: вот и научилась ты, Настена, врать научилась воровать. А ведь это только начало – что с тобой, Настена, будет дальше? Но вины она за собой все-таки не

чувствовала, не признавала, хотелось лишь краешком глаза заглянуть вперед, подсмотреть, чем все это кончится.

Уже рассвело, когда она остановила Карьку, взяла его в повод и повела по наледи в открывающийся с берега распадок.

6

– Ну, здравствуй, что ли, – сказала Настена и осторожно улыбнулась.

Она застала его врасплох. Он не слышал, как она подъехала, как, наскоро привернув коня вожжой к оглобле, оставила его на речке и тихонько подошла к зимовейке. Он спал, натянув на голову полушубок. И только когда Настена стала открывать дверку – его будто взрывной волной сбросило с нар, едва удержался на ногах. И вот теперь, взлохмаченный и ошалелый, он стоял перед Настеной, все еще не в силах поверить, что это она, и испытывая противное и досадливое чувство, что так перед ней напугался.

Наконец-то Настена могла разглядеть его: все та же корявая, слегка вывернутая вправо фигура и то же широкое, по-азиатски приплюснутое курносое лицо, заросшее черной клочковатой бородой. Глубоко посаженные глаза смотрели вызывающе и цепко, по шее беспокойно взад-вперед, как челнок, ходил острый кадык. И похудел, осунулся, поджался, а не надломился – видно, что сила и крепость еще остались, казалось, тронь – и зазвенит, спружинит от любого удара. Он, знакомый, близкий, родной Настене человек, и все же чужой, непонятный, не тот, кому она знала, что говорить и как спрашивать, и кого провожала три с половиной года назад.

– Вот, – виноватой улыбкой снова начала она, – приехала поглядеть, как ты тут. Ты не думай, никто не видел. Я уж сегодня из Карды прикатила, пока ты тут спал. Кой-чего привезла тебе на черный день.

– У меня теперь все дни черные, – впервые отозвался он.

Он был в ватных брюках и шерстяных носках. Только сейчас Настена заметила, что одна щека у него обморожена, на ней темнело пятно.

Понемножку он приходил в себя: сунул ноги в валенки, взялся за печурку. Настена шагнула было к двери, но он остановил:

– Куда ты?

– Да надо затащить сюда хозяйство-то мое, а то что ж на морозе будет.

– Сейчас пойдём вместе.

Они оставили в кошевке только банку с керосином, все остальное занесли в тепло. Потом отогнали Карьку вверх по речке за поворот, распрягли его там и подпустили к сену. И все молча, не лучше, чем чужие, обходясь самыми необходимыми словами, вроде – «возьми» да «подай».

Настена все еще не знала, как к нему подступиться и что сказать, а он то ли по-прежнему не мог преодолеть свою растерянность и оттого злился, то ли не решался сразу натягивать соединявшие их связи, которые за эти годы, неизвестно, сохранились или нет.

Пока управлялись с конем, в зимовейке нагрелось, и Настене пришлось раздеться. Она присела на нары, застланные пихтовым лапником, и сразу поднялась – нет, надо было что-то делать, чем-то успокоить себя и его, каким-то пустяком связаться вместе. Подошла к двери, где лежали сваленные в одну кучу манатки, выпростала из дохи наволочку с мукой и похвастала ему:

– Вот, достала в Карде муки тебе. Будешь лепешки стряпать. Он в ответ бегло кивнул.

– Это что же получается? – обиделась Настена. – Почему ты меня так встречаешь-то? Слова не скажешь. А я к тебе на всех рысях середь ночи летела, думала, обрадуешься. Может, мне лучше назад повернуть?

– Не пуцу!

По тому, с какой решимостью, с какой злой, откровенной уверенностью он это сказал, Настена поняла: не пустит, ни за что не пустит. Она подошла к нему и вытянутой вперед,

слабой, щупающей, как у слепых, рукой коснулась его головы.

Он повернул к ней побледневшее лицо и сказал:

– Неужто думаешь, я не рад, что ты приехала? Рад, Настена, еще как рад! Да радость-то у меня теперь ишь какая: ей требуется знать, нужна она или нет, можно ее показывать или нельзя.

Настена ткнулась ему в грудь головой:

– Господи! О чем ты говоришь? Я же тебе не чужая. Мы с тобой четыре года вместе прожили – или этого мало?

Он попридержал ее за руки и, не ответив, отпустил. Но она уже видела, что он поддается ей, отходит – вот и голова, не выдержав, склонилась набок, на подставленное плечо, – верный, только ей одной известный признак того, что он оттаял. По этому признаку она определяла раньше его настроение: если голова набок – говори, что хочешь, смейся, дури – все простит и поддержит, потянет в игре еще дальше и успокоится не скоро и не охотно. Нет, что-то осталось в нем от прежнего Андрея. Она улыбнулась ему неполной, наполовину придержанной, требующей поддержки и взаимности улыбкой и сказала:

– А я ведь тебя в первый раз сегодня только и увидела. Чудной ты с этой бородой.

– Почему чудной?

– Да какой-то... – Она засмеялась и так же прикусила, остановила смех. – Как леший. Я в бане понять не могла, кто со мной – ты или леший. Думаю, своему мужику берегла, берегла, а тут с нечистой силой связалась.

– Ну и как нечистая сила?

– Ничего. Но свой мужик лучше.

– Хитрая ты. Никого не обидела. Принеси-ка мне в следующий раз бритву, уберу я эту лохматину.

– Зачем?

– Чтобы не походить на лешего. – Он сказал и тут же одумался. – Хотя нет, не буду. Пускай торчит. Чтобы не походить на себя. Уж лучше на лешего.

– Господи! Что ж я мужика-то своего не кормлю, – спохватилась Настена. – Приехала тут разговоры разговаривать. – В заполохе она забыла, что они не успели еще двух слов сказать. – Ну, баба! Вот что значит: давно никто не колошматил.

Он внимательно посмотрел на нее и хмыкнул:

– Никто, говоришь, не колошматил?

– Ну.

– Соскучилась, что ли?

– Ну, так некому было на ум наставить. Ладно, садись, я сейчас.

– Надо хоть чаю поставить, – вспомнил он.

– Ставь – что ты стоишь, как неживой. Воды, что ли, у тебя тут нету?

Ей нравилось хоть ненадолго почувствовать себя хозяйкой и покомандовать над ним – так редко это случалось раньше, и неизвестно, удастся ли впереди. Она заставила его подбросить в печку и сбежать на речку за водой, потом развязала на его глазах свой узелок и открыла на свет ковригу ржаного хлеба и большой кусок сала. Сало еще с осени припрятала Семеновна для него же, для Андрея, когда ждали его на побывку. Побывка сорвалась, но приготовленное для встречи по какой-то старой, суеверной примете не трогали: изведешь жданки не дождешься и встречи. С месяц назад Настена нечаянно наткнулась на сало, завернутое в тряпицу и затолканное в дальний угол на полке в амбаре, и вот вчера половину отрезала. Для кого хранится – тому и пригодится. Где-то так же стоит, наверно, в запыленной бутылки самогонка, ждет, когда ступит Андрей на отцовский порог и придет час поднять за него, желанного, стаканы.

Еще до войны видела однажды Настена в кино (ей и всего-то три раза довелось посмотреть это чудо), как городская баба, не зная, чем угодить мужику, которого она без ума любила, кормила его, как маленького, из рук. Вспомнив сейчас об этом, Настена из какой-то вдруг приспичившей, незнакомой ей раньше причуды тоже решила подносить куски сала в

рот Андрею, но он не позволил. Ей стало и неловко за себя, и весело, словно она переступила уже через какую-то мелкую стыдинушку и теперь могла ступать дальше. Но чай им пришлось пить из одной посуды – из крышки от солдатской манерки, передавая ее из рук в руки, и то, что Настена брала эту крышку после Андрея, а затем снова передавала ему, почему-то также волновало ее.

Да и все здесь волновало и в то же время пугало Настену – и запущенная, без жилого духа, зимовейка с как попало набросанными на землю плахами вместо пола, с прогнувшейся в потолок доской, с черными, в засохших тенетах, неровно стесанными стенами, и не тронутый ничьим следом, блестящий на солнце снег за окном, спадающий с горы огромным валом, и Андрей рядом, признанный теперь уже при свете дня, но не ставший от этого более понятным, и сама она, невесть как и зачем очутившаяся в этом дальнем, заброшенном углу. Отвлекаясь на мгновение, она всякий раз поражалась, что видит перед собой Андрея, и тогда приходилось делать немалое усилие, чтобы вспомнить, почему он здесь. Лишь после этого все становилось на свои места, как оно есть, но стояло непрочно, шатко, так что положение это нужно было постоянно поддерживать, чтобы не уплыло оно опять куда-то и не потерялось – настолько все казалось неправдашным, придуманным или увиденным во сне.

Настена словно бы играла в прятки сама с собой: то была уверена, что все это со временем обязательно кончится хорошо, стоит лишь выждать, потерпеть, то случившееся вдруг открывалось такой проваленной, бездонной ямой, что от страха перехватывало дух. Но она не показывала страх, притворялась веселой. Неизвестно еще, что будет завтра, а сегодня ее день, сегодня за целые годы можно устроить выходной, дать свободу и отдых всему, что в ней есть.

Она съела за столом совсем немного, чтобы не отнимать у Андрея, и, разморенная теплом, зевнула.

– Наши думают, я в Карде, а я тут у тебя, – неизвестно к чему сказала она. – Вот бы знали.

Андрей не ответил.

Она постелила на нары доху, скинула с ног валенки и улеглась, широко раскинув руки. Андрей покосился на нее из-за стола – она, чтобы подразнить его, закрыла глаза, словно засыпая, и примолкла. Но едва он стал подходить, она быстро, одним рывком вскочила на колени, выгнулась вперед и бойко, по-девчоночьи, протараторила:

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

– Чего-чего?

– Отскочь, не морочь, я тебя не знаю.

– Гляди-ка ты!

Поддаваясь игре, он прыгнул к ней, она увернулась, поднялась возня, как когда-то давным-давно, в первый год их совместной жизни. Ох и дурили же они – пыль столбом стояла. Настена была не из слабеньких и сдавалась не сразу, с него, случалось, семь потов сойдет, пока она попросит пощады. Но сейчас ей почему-то не хотелось пытаться его силу, она опустила руки. Он понял это по-своему и заторопился, засуетился, как мальчишка, – тогда она осторожно, чтобы не обидеть, удержала его:

– Тише, Андрей, не гони, не надо. Любовь-то моя сколько без корма, как худая кобыла, жила. Не надорви ее, не понужай.

Он послушался и, как никогда раньше, в первый раз, сколько она его знала, обошелся с ней ласково и внимательно, подлаживаясь под нее и угадывая каждое ее маленькое желание.

Отдыхая, Настена испытала неловкое и забавное чувство, будто она была не со своим, а с чьим-то чужим мужиком, на которого не имела права. Но чувство это скоро прошло. Она стала уже забываться, когда на мгновение ей показалось, что только что каким-то чудом ей удалось подглядеть себя далеко вперед нынешнего дня; что-то там было иное, чем здесь, но и там она тоже мелькнула не одна, хотя он в ее глазах почему-то не удержался, и она не знала, Андрей это был или кто-то другой. Наверное, Андрей, ни о ком больше она не помышляла.

Ей захотелось что-нибудь сказать ему, что-нибудь хорошее, свое, но, не найдя больше, с чего начать, она попросила:

– Покажи, где ранило-то тебя...

Он расстегнул рубаху и открыл на груди красноватые рубцы. Настена осторожно погладила их.

– Бедненький... убить хотели... совсем зажило, не болит?

– Сейчас, уж лучше, только ноет. Особенно в непогоду. А так – будто мешает все время, будто торчит что-то, не притерпелся еще.

Только что, час назад, она не могла взять в толк, как и почему очутилась здесь, а теперь ей уже представлялось, что она и не знает ничего другого, что она находилась в этих стенах всегда. Все, что можно было припомнить из какой-то иной жизни, смутно виделось позади беспорядочными обрывками растерянных снов. Неужели где-то там есть еще люди, война, смерть и беды? Когда это было, и было ли это когда-нибудь вообще? Воздух в зимовейке горчил, густая, неземная тишина убаюкивала, укрывала от всяких забот и хлопот, пьянила свободным и одиноким существованием. Успокоившееся тело раскинулось во всю сласть, лежало молча и забывчиво, не напоминая о себе ни одним желанием.

– Ты не рассердишься, если я усну? – слабым и счастливым голосом спросила она.

– Спи, спи.

Он приподнялся на локте, чтобы видеть ее, – она уже спала. Красное от зимнего загара, круглое лицо обмякло и светилось сквозь сон вольной улыбкой. Оно за эти годы чуть поддубело, огрубело, с него исчезли совсем, а исчезать стали еще при нем, девическое нетерпение и удивление, которые вечно были на виду: ой, как интересно, а что дальше? Сказка скоро кончилась, все тайны были открыты, а если и выпадало иной раз что-то еще удивительное, то оно догоняло, казалось, из прошлого, из того, что в спешке было пропущено по пути.

На грудь, где расстегнулась кофта, Настена положила руки, и они вздымались вместе с грудью, чуть пошевеливаясь в пальцах. Андрей заметил, что руки тоже набрякли и потяжелели – это от работы... От глубокого и ровного дыхания исходил теплый и сладкий, парной запах.

Он придвинулся к Настене вплотную, осторожно обняв, и услышал, как бьется ее сердце. Оно стучало отчетливо и близко, с каждым тукающим ударом наполняя его неясной, болезненной тревогой. Она, тревога эта, все прибывала и прибывала, и оттого, что он не знал, к чему она относилась и что предвещала, было еще беспокойней. Лежать больше он не мог и поднялся, тихонько сполз с нар и воровато, из-за спины, оглянулся на спящую Настену. «Спи, спи», – зачем-то шепнул он, но больше всего он хотел, чтобы она проснулась. Быть рядом с ней и не слышать ее, пропустить все, что она могла бы сказать и сделать, становилось невмочь, в груди быстро выстыло и опустело, сжалось, требуя движения и тепла.

Он вышел на воздух и зажмурился – так неожиданно ярко и резко ударил в глаза свет. Казалось, все солнце, стоящее как раз над горой, скатывалось с горы сюда. Снег пыхал, искрился, а в легких тенях отливало мякотной синью. Тепло было весеннее, с запахом. На углу крыши у зимовейки наплавлялась сосулька, на мелких от снега, проплешистых местах распрямлялся голубичник.

Андрей дышал с придыхом, словно давясь воздухом, Он сходил напоить коня, затем спустился к Ангаре, чтобы посмотреть, не видать ли чего постороннего. Но беспокойство не исчезало. Андрею казалось, будто сейчас, как раз в эти минуты он по своей глупости теряет что-то важное, невозвратное, донельзя необходимое ему, чего потом не найти.

Он вернулся в зимовейку – Настена все еще спала. Не найдя места, он опять приткнулся к ней, прильнул головой к ее груди, но, задыхаясь от близости, отстранился. Настена во сне нашла рукой его голову, провела по волосам, и от этого прикосновения ему вдруг стало легче. Он закрыл глаза и, чувствуя на плече спасительную руку Настены и представляя, как он, медленно кружась, вворачивается в какую-то мягкую и просторную

пустоту – это всегда помогало ему уснуть, – скоро забылся.

Они проснулись одновременно. Настена открыла глаза, взглянула на него, и он, вздрогнув, очнулся. Она улыбнулась ему.

Солнечное пятно из окна сместилось далеко к двери: день пошел под уклон.

– Так сладко поспала, – сказала Настена. – Уж и не помню, когда еще так доводилось – на самом дне. А все потому, что рядом с тобой. Гляжу на тебя и не верю, что это ты. А во сне, вот видишь, поверила, растаяла до последней капельки. Спокойно-спокойно было...

После сна они встретились словно бы заново и смотрели друг на друга с удивлением и ожиданием. Настена хотела подняться, но он удержал, и она, обрадованная этим, засмеялась.

Они все оттягивали и оттягивали разговор, хоть и понимали, что никуда от него все равно не деться.

7

– Возвернись я туда, я бы там и остался – это точно. Сколько держался, воевал и воевал, не прятался, не хитрил, а тут нашло. Нашло-наехало так – не продохнуть. Зря это не бывает. Зря не зря – теперь уж дело сделано, переделывать поздно.

Он лежал с закрытыми глазами – так легче было говорить – и говорил с той рвущейся, прыгающей злостью, какая бывает, когда ее не к кому обратиться.

– Но как, как ты насмелился? – вырвалось у Настены. – Это ж непросто: Как у тебя духу хватило?!

– Не знаю, – не сразу ответил он, и Настена почувствовала, что он не прикидывается, не выдумывает: – Невмоготу стало. Дышать нечем было – до того захотелось увидеть вас. Оттуда, с фронта, конечно, не побежал бы. Тут показалось вроде рядом. А где ж рядом? Ехал, ехал... до части скорей доехать. Я ж не с целью побежал. Потом вижу: куда ж ворочаться? На смерть. Лучше здесь помереть. Что теперь говорить! Свинья грязи найдет.

– Война кончится, – может, простят, – неуверенно сказала Настена.

– Нет, за это не прощают. За это, если бы можно было расстреливать, а после сызнава поднимать, расстреливали бы по три раза. Чтоб другим неповадно было. Моя судьба известная, и нечего теперь о ней хлопотать. Я шел и думал: приду, погляжу на Настену, попрошу прощенья, что сломал ей жизнь, что гнул без нужды да изголялся, когда можно было жить. И правда – чего не жилось? Молодые, здоровые, всем, как нарочно, друг под друга подогнанные. Живи да радуйся. Нет, надо было каприз показывать, власть держать. Вот дурость-то. И сам же понимал, что дурость, не совсем ведь остолоп, понятие какое-то есть, а остановиться не мог. Казалось как: успеем, наживемся, налюбимся – век большой. Вот и успели. Думаю, приду, покажусь Настене на глаза, покаюсь, чтоб извергом в памяти не остался, погляжу со сторонки на отца, на мать, и головой в сугроб. Зверушки постараются: приберут, почистят. А уж чтоб вот так с тобой быть – и не надеялся, не смел. Это-то за что мне привалило? За одно за это, если б жить не вспыхват, я должен тебя на руках носить.

– Ну что ты, что ты, – начала Настена, но он перебил ее:

– Погоди. Начал, так докончу, потом, может, не придется. Мне теперь про себя оставлять ни к чему, не пригодится. Что есть, то и выкладывай. Вот. Пришел, думал, ненадолго, думал, до прощенья да до прощанья, а сейчас уж охота до лета дотянуть. Посмотреть напоследок, какое лето. Охота, и все хоть убей. А тут ты сегодня обогрела – в пору скулить от радости. – Он поперхнулся, сглатывая комок в горле, и помолчал. – Мне от тебя много не надо, Настена. Ты и так сколько сделала. Потерпи еще эти месяцы, потаись, а там, придет пора, я сгину. Но потерпи. Немало ты от меня вынесла, вынеси еще и это.

Настена подумала, что надо бы вскинуться, обидеться, но двигаться почему-то не хотелось, слова не отделялись из одной общей тяжести, и она промолчала. Он помедлил, подождав, и продолжал:

– На людях нам больше не жить. Ни дня. Когда захочешь, когда жалко меня станет, приходи. А я молиться буду, чтоб пришла. На люди мне показываться нельзя, даже перед

смертным часом нельзя. Уж что-что, а это я постараюсь довести до конца. Я не хочу, чтоб в тебя, в отца, в мать потом пальцем тыкали, чтоб гадали, как я прятался, следы мои нюхали. Чтоб больше того придумывали, косточки мои перемывали. Не хочу. – Он приподнялся и сел на нарах, лицо его заострилось и побледнело. – И ты – слышишь, Настена? – и ты никогда никому, ни сейчас, ни после, никогда не выдашь, что я приходил. Никому. Или я и мертвый тебе язык вырву.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испугалась Настена и тоже приподнялась, теперь они сидели рядом, касаясь локтями друг друга, и она слышала его тяжелое, гудящее, как в полости, дыхание.

– Я тебя не пугаю. Тебя ли пугать, Настена?! Ты для меня весь свет в окошке. Но помни, всегда помни, живой я буду или неживой, где для меня горячо и где холодно. Потом, когда все это кончится, ты еще поправишь свою жизнь. Должна поправить, у тебя время есть. И может статься, когда-нибудь тебе будет так хорошо, что захочется за свое счастье выпростать себя до конца, сказать все, что в тебе есть. Это не трогай. Ты единственный человек, кто знает про меня правду, остальные пускай думают что хотят. Ты им не помощница.

– Чем же я, Андрей, заслужила, что ты так со мной разговариваешь? – спросила Настена. Она растерялась и не знала, что говорить, этот чисто бабий расхожий вопрос, в котором не столько обиды, сколько мольбы, сорвался у нее сам собой и прозвучал жалобно, но Андрей, казалось, даже обрадовался ему, чтоб под его смирением успокоиться совсем.

– Ничем не заслужила. Не сердись, не надо. Я знаю, ты поймешь. Поймешь все, как есть. В другой раз я бы, наверно, не стал такое говорить, а теперь приходится. Я теперь и сам не соображаю, что делаю, зачем делаю. Будто не я живу, а кто-то чужой в мою шкуру влез и мной помыкает. Я бы повернул вправо, а он нет – тянет влево! Ну ничего, уж немножко осталось.

– Ты как-то страшно все время говоришь...

– Не бойся. Я не тебя пугаю – себя. Да оно и себя тоже ни к чему пугать: страшней не будет. Это я при тебе слабину дал. Зато все, что надо, сказал, обо всем предупредил. Легче стало. Теперь ты говори.

– Что мне говорить...

– Как там мать – ходит?

– Последний год с печки почти не слазит. Только когда стряпня. К квашне меня не подпускает – сама. Так и не научусь, поди, никогда хлебы печь.

– Отец все в конюховке?

– Ага. Если бы не он, давно бы всех коней порешили. Он один только и смотрит. Тоже сдал. Кряхтит все, устает сильно. А тут еще я его позавчера оглоушила.

– Что такое?

– Подписка была на заем. Я сдуру и бухнула: две тыщи. Куда как проста: не пожалела, чего нет. А он сном-слыхом не чуял – ну и обрадовался, конечно, похвалил меня.

Настена виновато хохотнула и взглянула на Андрея.

– Стариков пока не бросай, – сказал он и опять затмился, задумался. Мать, поди, долго и не протянет. Надо как-то скараулить их, поглядеть.

– А как же, Андрей, дальше-то? – несмело, замирая сама от своего вопроса, спросила Настена. – Они ведь ждут, надеются: вот-вот ты скажешься, напишешь, где ты есть. Кончится война – что им потом думать? У них вся надежда на тебя.

– Надежда, надежда... – он вскочил и заходил по зимовейке. – Нет у них никакой надежи. Все. Нет. Я только что об этом толковал. А насчет того, где я, я тебе вот что скажу. В нашем госпитале капитан лежал. Подлечили его, документы в руки – и так же в часть. На другой день те документы в почтовом ящике подброшенные обнаружили. А капитана поминай как звали. Где он? Да сам господь бог не знает, где он. Или позарились на форму, на деньги, на паек да прихлопнули. Или сам замел следы. Был – и сплыл. С кого спрашивать? Что там капитан – тыщи людей не могут найти. Кто в воздухе, кто в земле, кто мается по белу свету,

кто прячется, кто не помнит себя – все перемешалось всмятку, концов не сыскать. Вот и я тоже: то ли есть, то ли нет. Как хочешь, так и думай. Моим старикам ждать уж немного осталось. Там встретимся, поговорим. Может, там войны нет. А здесь хоть у слабого, хоть у сильного одна надежда – сам ты, больше никто.

Настена не решалась возражать, и он, помолчав, заговорил спокойней:

– Еще неизвестно, что лучше: точно знать – твой сын или твой мужик убитый лежит, или не знать ничего. Для жены, наверно, надо знать – чтоб устраивать свою судьбу. Тут дело понятное: сам не выжил, дай ей пожить. Не мешай. А для матери? Сколько их согласится не знать, жить с завязанными глазами. Она и похоронку получит – не хочет верить. Ей и место укажут, где зарыт, товарищ, который зарывал, напишет – все ей мало. Так пусть и моим старикам хоть никакой, хоть мертвый огонек, да маячит. Раз уж я другого не могу им показать. – Он повернулся к Настене и, отрубая, сказал: – Ладно, хватит об этом. Слезай, будем чай пить. Скоро тебе ехать. Поедешь или, может, останешься?

– Как же я останусь?

– Еще-то приедешь?

– Приеду, Андрей, приеду. А то прибегу. Дорогу теперь знаю.

– Неохота будет, не ходи, тут неволить себя нельзя. А я выдюжу, мне этого дня надолго хватит. Настена вспомнила:

– Ой, я ведь тебе провианту привезла. Чуть обратно с ним не уехала. Она легко соскочила с нар и выгребла из кучи в угол два холщовых мешочка – с порохом и дробью. – Половину отсыпь, а половину я отцу увезу, это он заказывал.

– Мне и половины за глаза достанет, – обрадованно засуетился над мешочками Андрей. – Теперь живу. Теперь мне и сам черт не страшен. Вот одарила ты меня. Всем одарила. Ну, Настена, золотая ты моя баба! – Он сграбастал ее и приподнял, она завизжала, отбрыкиваясь, но он тут же осторожно опустил ее и с жесткой тоской самому себе сказал: – С этой бабой в миру бы жить, а не по норам прятаться.

– Ну тебя! – не слыша, разволновалась Настена. – Прямо сердце зашло до чего напугал! Я уж отвыкла, чтоб так хватали.

– Прибегай, я приучу.

– Да я-то бы каждый день прибегала.

– За чем же дело?

Пора было подбирать концы этого долгого, на весь день, и все же урывистого свидания. Смеркалось, из углов сильнее потянуло гнилью, ближе и опасней нависла прогнувшаяся в потолке доска, ненадежно, скользко, тревожно стало вокруг. Разговор остыл.

Они наспех попили чаю. Андрей заставил Настену поесть, и она без удовольствия пожевала сала с хлебом. Она уже оделась, когда он молча протянул ей что-то круглое и блестящее, со светлеющими, как глазки, точками. Настена тихонько ахнула:

– Ой, что за чудовина такая?

– Возьми, Настена. Часы. Я сам их с немецкого офицера снял. С живого не с мертвого. Мне они больше ни к чему, а тебе пригодятся. Будешь продавать, не продешеви: это хорошие часы, в Швейцарии делали. Меньше чем за две тыщи не соглашайся.

– Господи, да их в руки брать боязно.

– Бери. Больше дать тебе нечего.

Он проводил ее до дороги через Ангару, обнял в кошевке, замер на минуту и, стеганув Карьку, прыгнул в снег. И долго-долго, пока видно было удалявшееся темное пятно, стоял неподвижно, с неподвижным же лицом и остановившейся, оборванной мыслью: вот так...

...Настена ехала и плакала – до того схватило и сжало душу, а почему так сильно схватило, сразу не понять, не разобраться. Ни одна боль в ней не вызрела, не дала знать, что с ней делать, – все сплошь обметало каким-то сквозным, сосущим беспокойством. Намешайте в чай пополам с сахаром соли и залпом выпейте – так же захолонет и запнется внутри: для сладкого там свое место, для горького свое. Чуть отдастся маленькой каплей сладкого и тут же перешибет соленым, и потечет горечь по всему телу, прохватывая до

костей.

Сколько годов была привязана Настена к деревне, к дому, к работе, знала свое место, берегла себя, потому что и ею тоже что-то крепилось, стягивалось в одно целое. И вдруг разом веревки ослабли – не снялись совсем, но ослабли. Делай, насколько хватит свободы и силы, что хочешь, ступай, куда знаешь. А куда ступать? Что делать? Уж и привыкла к своей лямке, притерлась, и не уйдешь далеко, даже если решишься, и идти некуда. Как тут не растеряться? Нет, видно, из веревок не выпрячешься, надо их подтягивать и ждать, что будет дальше. Убежать от судьбы она не сможет. Теперь и толочься-то придется по тому же кругу, но словно бы в сторонке. Подглядывать, как живут другие, и жить наособь, под секретом. Смотреть в оба глаза и говорить в пол языка. Работать вдвое больше и спать вдвое меньше. Хитрить, изворачиваться, врать и знать наперед, чем это кончится.

А все потому, что до поры сберег себя мужик.

Человек должен быть с грехом, иначе он не человек. Но с таким ли? Не вынести Андрею этой вины, ясно, что не вынести, не зажить, не заживить никакими днями. Она ему не по силам. Так что теперь – отступить от него? Плюнуть на него? А может, она тоже повинна в том, что он здесь, – без вины, а повинна? Не из-за нее ли больше всего его потянуло домой? Не ее ли он боялся никогда не увидеть, не сказать последнего слова? Он перед отцом и матерью не открылся, а перед ней открылся. И может, смерть оттянул, чтоб только побыть с ней. Так как же теперь от него отказаться? Это совсем надо не иметь сердца, вместо сердца держать безмен, отвешивающий, что выгодно и что невыгодно. Тут от чужого, будь он трижды нечистый, просто не отмахнешься, а он свой, родной... Их если не бог, то сама жизнь соединила, чтобы держаться им вместе, что бы ни случилось, какая бы беда ни стряслась.

Живые там, он – здесь. Господи, научи, что делать!

Тяжко, смутно и в то же время просторно, оглядно было на душе у Настены как в доме, из которого вынесли вещи. Теперь можно распорядиться и так, и этак. И знобила, и заманивала, тянула эта пустота, обнажившая все углы, где каждая мысль отдавалась гулким вопросительным эхом.

8

Днем Андрей Гуськов старался не оставаться в зимовейке. Едва ли кого могло сюда занести, но он все же решил быть осторожным. Заталкивал под нары свои немудрящие пожитки, сгребал в кучу лапник на лежанке, всякий раз тщательно прибирая за собой следы, забрасывал за плечо ружье и уходил на лыжах по наледи вверх по речке. Правую, ближнюю к Рыбной, сторону он обычно не трогал и сворачивал влево, где на добрые тридцать верст не было обжитого угла.

В лесу не разбежишься, снег держал плохо, но на полянах Гуськов скользил по насту, как по льду, радуясь быстрому и свободному, приподнятому над землей движению, в котором был какой-то приятный и веселый обман: вперед, вперед, на простор и волю, в ту даль, где не надо бояться и прятаться, где все, что имеет свой вид, во весь вид и живет.

Тайга стояла в снегу – нагрузлом, лежалом, заброшанном иголками и запятнанном шлепками с веток. Она еще не очнулась, стояла отягощенная смутной думой, но уже расправляла вверх ветки сосна, уже помякла, отзываясь на взгляд, березовая нагота и доносило терпким смоляным, исподним запахом корья. Сильные по зиме, словно единственные, белая и черная краски, когда и ель и осина кажутся одинаково черными, за недельное краснопогодье раздвинуло, и резче, яснее, ближе обозначилась каждая корявинка. Ветер, срываясь, уже больше не дымил ни поверху, ни понизу, снег по земле прочно лег там, где ему и изойти. Будет еще, конечно, с неба подбрасывать, и не раз, не два, но больше для форса, и тут же накиданное цепко прихватит старым. По бокам открытых колодин уже сочилось мокрецо.

По лесистому склону Гуськов долго шел до следующего распадка и по нему скатывался

к Ангаре. Река здесь поворачивала вправо, и берег, намываясь год от года, лег широко и просторно. Богатый это был берег: ягодный, травный, грибной; когда-то, по слухам, где-то здесь стояла татарская деревня, но давно уже неизвестно почему снялись татары с облюбованного на чужой реке места, пожгли за собой постройки и ушли. Так или не так было – неизвестно, но то, что встарь тут трудилась человеческая рука, заметно и теперь: видны вырубki, поля, покосы.

По берегу снова шел – не шел, а катил – Гуськов по насту вверх по Ангаре.

Здесь таиться таись, но бойся меньше, это ничейная территория. Один район кончился, второй еще не начался. И люди, разделенные административно, мало знали друг друга. Выстрел, услышанный с разных сторон, на разные же стороны и относили: верховские могли считать, что палят низовские, а низовские – что верховские. Здесь, только здесь и наказал себе охотиться Гуськов.

Два дня он высматривал коз с берега и дважды же видел, как они пересекали Ангару через Каменный остров. На третий заход он перебрался на остров и устроил скрадень на нижнем пологом мысу, который прихватывали козы и с которого тот и другой берега были видны как на ладони: левый ближе, правый дальше. Место в этом смысле удобное, оглядное, но чересчур открытое для низовки, она тут секла нещадно. Прячась от нее, Гуськов пошел в камни, которые громоздились посреди острова, как громадный могильник, и неожиданно наткнулся за расщелиной на глубокую, уходящую далеко вбок выбоину, напоминающую пещеру, со следами старого кострища. Осмотревшись, Гуськов удивленно хмыкнул и вслух рассмеялся: о такой находке он и не мечтал. Еще не зная, как и зачем, он уже верил, что эта запазуха ему пригодится.

Он развел костер и согрелся. А согревшись, Гуськов решил, что, если сегодня не будет удачи, обратно в зимовье он не пойдет, ночует здесь. Что зря маять ноги в два неближних конца! Теперь пристанище есть и на острове, да еще какое пристанище! Ночью будет, конечно, прохладно, но с огнем нестрашно. Кто-то когда-то тут тоже скрывался – то ли от непогоды, то ли от людей. Скорей всего от людей – зачем еще, по какой надобности могла сюда занести нелегкая? Вон сколько нагорело золы, уже черной, закаменевшей, – не с одной ночевкой сидел тут человек. Давно только сидел. Долгое, видать, выдалось у него непогодье – свое собственное, обложное.

И как это раньше не пришлось Андрею побывать на Каменном? Рядом, а пропустил. Сколько раз проплывал мимо, тарачился на скалу, а вот заплыть не выпало. Чужой, неудобный остров с обрывистыми берегами, камень и лиственница. Не лучше, наверное, кажется он и другим.

Андрей заночевал на нем, испытывая какое-то злорадное удовольствие оттого, что лежит в пещере, как бы в середине, в сердцевине камня, откуда его ни с одной стороны не достать. С вечера он запалил сушины, нагрел себе лежень и спал тепло и спокойно, без привычной опаски, без того постоянного острого напряжения, которое не оставляло его теперь и во сне.

На мыс он утром вышел поздно: пока вскипятил чаю и пил его, обжигаясь, из манерки, пока заставил себя подняться и выбраться на холод... Низовка унялась, но с севера неслышно и ровно тянул хиус. Утро было какое-то мерклое, подслеповатое, вызывающее на осторожность и зверя и человека. Едва ли в такую неуверенную, неустоявшуюся погоду решатся козы на большой переход. Надо, наверное, потихоньку идти вдоль хребта обратно – может, удастся где наткнуться хоть на белку.

Он размышлял, что делать, когда, обернувшись на левый берег, куда предстояло идти, вдруг увидел, как с яра, подгибая передние ноги, скатываются вниз три козы. Они, они, миленькие.

Он отступил за лиственницу и снял ружье. Тяжелыми, рваными прыжками, топя ноги в твердом снегу, козы мели через протоку прямо на него. Что их всех, интересно, сюда тянуло? Может быть, желание хоть на мгновение укрыться в деревьях, унять страх, прежде чем снова выходить на открытое со всех сторон, опасное пространство?

Они приближались, держась одна за другой. Гуськов уже слышал гукающий, похожий на игру селезенки, звук их дыхания. До мыса оставалось метров сто, не больше, когда что-то насторожило коз, и передняя, которая вела след, вдруг повернула от острова вниз. Андрей ударил вдогонку из обоих стволов, и козуля, бежавшая последней, подскочила, отчаянным прыжком выскочила высоко в воздух, но уже не вперед, а в сторону, и завалилась.

Когда Гуськов подбежал, она еще была жива. Хрипя и молотя ногами, она подгребала под себя снег; глаза налились кровью, голова вскидывалась и падала. Он не добил ее, как следовало бы, а стоял и смотрел, стараясь не пропустить ни одного движения, как мучается подышающее животное, как затихают и снова возникают судороги, как возится на снегу голова. Уже перед самым концом он приподнял ее и заглянул в глаза – они в ответ расширились, и он увидел в их плавающей глубине две лохматые и жуткие, похожие на него, чертенячьи рожицы.

Он ждал последнего, окончательного движения, чтобы запомнить, как оно отразится в глазах, и пропустил его. Ему показалось, что глаза козули в этот момент были обращены в себя.

Иногда он уходил в верхнее зимовье. Оно было добротней и просторней нижнего; срубленное из лиственника и стоящее на взлобке, оно представлялось вечным. Поля вокруг него давно одичали, заросли чем попало, но рядом, за негустым осиновым строем, светилась круглая веселая поляна. Однажды, раздумавшись, Гуськов вдруг всхотел, чтобы его похоронили здесь, на меже осинника и поляны. Тут сухо, приветно, с деревьев будет падать лист, на цветы прилетят и попоют птицы, а постройка остановит зверя.

В зимовье не было печки (кто-то когда-то прибрал, не поленился тащить к воде), и, наверно, к лучшему: не удержишься, разведи он огонь, и закуритесь на виду у Атамановки гора. По теплу, когда придется сюда перебираться, печка не понадобится, а пока он прибегал лишь на дневку и едва начинал застывать, шевелился, согревался без огня. Да и отпусало, припекало днями уж так, что мешал полушубок.

Скоро потечет, зазвенит, а у него ни сапог, ни фуфайки.

Андрей замечал: здесь он почему-то дуреет, чувствует себя совсем по-другому, чем внизу. Там было спокойней, привычней, там он не вылезал из своей шкуры, жил и думал, крепя и прокладывая жизнь немудреными зарубками: что делать, куда пойти завтра, как достать одно, второе, чем утолить голод? Не заглядывал далеко и старался не помнить издалека, светя в памяти лишь то, что началось отсюда, и эта обрубочная, теперешняя, на живот и дыхание, жизнь его устраивала. А здесь он разлаживался, разбалчивался, накатывали ненужные мысли, которые не смотать, не свернуть, сколько ни мотай, постанывало запретное, запертое на десять замков, запоздалое, дурацкое раскаяние.

А что думать, что размышлять, тянуть из себя попусту жилы? Ближе локоть, да не укусишь.

Как-то, вспомнив эту поговорку, он схватил другой рукой локоть и изо всех сил потянулся к нему зубами – вдруг укусишь? – но, не дотянувшись, свернув до боли шею, засмеялся, довольный: правильно говорят. Кусали, значит, и до него, да не тут-то было.

Здесь он ненавидел и боялся себя, тяготился собой, не зная, как себе похлеще досадить, что сделать, чтобы стало еще хуже, чем есть. И, самоедствуя, грозил: ну погоди, придет пора, ударит час! Потом спохватывался со страхом: действительно, придет пора, ударит час! Еще как ударит! Не поднимешься, не опомнишься.

И что было причиной этой его дури, он не знал. Зимовье ли, поставленное на долгую жизнь, веселое ли, молодое место вокруг него, откуда из-за деревьев проглядывалось торосистое поле Ангары и виднелся далеко на другом берегу край Атамановки, или что-то еще – неизвестно. Но находило, схватывало – не отодрать.

Но именно это и тянуло его сюда – как на сладкий, податный грех.

Через неделю после первой козули он подстрелил все на том же Каменном острове вторую, приволок ее на лыжах и уже в потемках ободрал и разделал у нижнего зимовья. Мясо до свету забросил наверх, под крышу.

Рано утром, выходя, он открыл дверь и обомлел: от двери огромным прыжком отскочила и, оскалась, уставилась на него большая серая собака. Не сразу Гуськов сообразил, что это волк. Тощий и длинный, со взъерошенной, торчащей, как всегда при линьке, космами шерстью, он смотрел на Гуськова с такой лютой злобой, что Андрей схватился за ружье. Но опомнился и стрелять не стал. Волк оказался старый, ученый: отскочив от наставленного дула в гору и не слыша выстрела, он опять остановился и зарычал.

С тех пор по ночам он стал подходить к зимовью. Он научил Гуськова выть.

Волк устраивался на задах зимовья и затягивал свою жуткую и острую на одном дыхании, песню. Все на свете меркло перед ней – настолько тонким режущим лезвием, взблескивая в темноте, подступал этот голос к горлу. Страдая, что не может ничем пугнуть зверя, Гуськов приоткрыл однажды дверь и в злости, передразнивая, ответил ему своим воем. Ответил и поразился: так близко его голос сошелся с волчьим. Ну что ж, вот и еще одна исполненная по своему прямому назначению правда: с волками жить, по-волчьи выть. «Пригодится добрых людей пугать», – со злорадной, мстительной гордостью подумал Гуськов.

Он прислушивался к волку и с какой-то радостью, со страстью и нетерпением вступал сам. Зверь, где нужно, затем поправлял его. Постепенно, ночь от ночи, Гуськов, догадавшись надавливать на горло и запрокидывать голову, убрал из своего голоса лишнюю хрипотцу и научился вести его высоко и чисто, поднимая в небо ввинчивающейся спиралью.

В конце концов волк не выдержал и отступился от зимовья. Но Андрей теперь мог обходиться и без него. Когда становилось совсем тошно, он открывал дверь и, словно бы дурачась, забавляясь, пускал над тайгой жалобный и требовательный звериный вой. И прислушивался, как все замирает и стынет от него далеко вокруг.

9

В середине марта вернулся в Атамановку первый фронтовик – Максим Вологжин. Хотя, если вспомнить Петра Луковникова, то не первый: Петра еще на втором году войны отпустили домой, но отпустили умирать. Два месяца промучился он в горячке в постели, почти не выходя на улицу, и сразу после покрова, когда прибрались в полях и огородах, тихонько скончался. Уж и то хорошо, что могила была дома, не в чужой стороне.

А Максим, хоть и раненый, пришел жить, и пришел совсем, подчистую. И Атамановка встрепенулась. Значит, действительно близко, если раненых распускают по домам, значит, скоро вслед за ним потянутся и другие. Тут важно показать след, потом по нему пойдут. Оно, правда, и идти-то мало кому осталось. Иннокентий Иванович, который всему любит дотошный счет, на цифрах показал, как извели атамановских мужиков: двое остались на финской, восемнадцать человек ушли за войну на фронт. На сегодняшний день один (Максим Вологжин) в достоверности живой, один (Петр Луковников) в достоверности на своем кладбище мертвый, десять похоронок на руках у баб, остальные воюют, Простая арифметика, деревня, маленькая, на пальцах сосчитать можно.

В тот день Настена, Надька и Лиза Вологжина подчищали у складов на ветрогоне семенной ячмень. После обеда подскакал галопом на своем Карьке Нестор, осадил коня, поставив его на дыбы, и закричал:

– А ну прыгай, Лизавета, скорей на мово жеребца. Живо, кому говорят! Максим пришел.

Лиза отшатнулась от него, побледнела и, взревев, помела с дурным ревом в деревню. Атамановку к тому времени уже встряхнуло. От горы, где стояли склады, видно было, как бегут на верхний край к дому Вологжиных ребятишки и собаки, как, возбужденно переговариваясь, тянутся туда же старики. Опять проскакал куда-то, стреляя на ходу и добавляя деревне переполоху, Нестор. От него шарахались, Карька от выстрелов подпрыгивал и хрипел, но Нестора теперь было не остановить, он палил и палил, насканивая то на один конец Атамановки, то на другой.

– Хоть так повоюет, – со злостью сказала Надька. – Генерал.

Она села на мешок с зерном и с тою же злостью, додержав ее до тоскливого отчаяния, произнесла:

– Не мог мой паразит живым остаться... Что ты на меня уставилась? Не правда, что ли? – вскинулась она на Настену, которая посмотрела на нее с удивлением. – Наклепал ребяташек и... смертью храбрых. А что с его храброй смертью я теперь делать буду? Их, что ли, кормить? – Надька кивнула в сторону дома, где оставались трое ее ребяташек, и заплакала, размазывая по пыльному лицу слезы. – Кто теперь меня возьмет с этим табором? А мне только двадцать семь годов. Двадцать семь годов – и все, отжила. Пропади оно все пропадом.

Больше в тот день не работали. Прибрали отвеянный ячмень и пошли по домам, постучав по дороге кладовщице, чтобы закрыла амбары.

Дома даже Семеновна слезла с русской печи и, прихивая, приседая при каждом шаге, расхаживала свои отечные ноги. Михеич, взбудораженный и растерянный, топтался с ней рядом. Он обрадовался Настене:

– Слыхала, Максим Вологжин пришел?

– Слыхала.

– Ты там не была?

– Нет.

– Надо бы сходить... может, он знает че про Андрея.

– Пошел бы ты, штарый, шам, – застонала Семеновна. – Больше надежи. Она ить и шпрошить как шледует не шпрошит.

– А что там спрашивать? Будет че сказать, сам скажет.

– Ой, да делайте, как знаете.

Настена замечала, что в последнее время, с тех пор, как потерялся Андрей, Михеич стал чураться людей. В конюховке, конечно, от народа никуда не спрячешься, но, возвращаясь домой, он так дома и пристывал, все реже и реже выходя к старикам покурить и поговорить. И даже когда заходили к нему, он больше отмалчивался. У него появилась привычка в разговоре кивать головой, словно соглашаясь с тем, что говорят, а скорей всего – чтобы меньше говорить самому. Задумавшись, он мог кивать и совсем один, глядя перед собой неподвижными, безжизненными глазами, и чем в эти минуты была занята его голова, в чем он наедине с собой утверждался, едва ли он знал, но в чем-то неясном еще, надвигающемся и неприятном утверждался, чего-то с уверенностью ждал.

В этот год он был как раз на половине к седьмому десятку своих лет. Его усы, молодецки закрученные вверх еще перед войной, теперь обвисли и выцвели до ржавого цвета. Да и весь вид у Михеича был измученный, безнадежный, когда не взбадривают ни сон, ни отдых. Держался он прямо, откидывая при ходьбе голову назад, за последний год он сильней стал приволакивать ногу, подбитую еще в первую германскую войну, но едва садился, сразу опускал голову, прикрывая глаза, и заходил в гулком утробном кашле, бухая всем своим большим прокуренным нутром. Семеновна, не выдерживая, кричала с печи, чтобы он перестал, – он, не отзываясь, кашлял и кашлял, с кашлем же уходил во двор и там за каким-нибудь делом незаметно успокаивался, но долго еще дышал со свистом, с натугой. А чаще всего он глушил кашель тем же табаком – это походило на вечное похмелье, на вечное вышибание клина клином, и чем дальше – тем яростней и нетерпеливей. Голос его сделался глуше и сдавленной, глаза прищурились, словно присели от тяжести, костистое лицо еще больше заострилось – так сильно сдал Михеич за один год, что, задумываясь об этом, Настена боялась, что будет дальше.

– Сходи, дева, сходи, – отправлял он Настену. – Мне ишо на конный надо.

Чтобы не идти к Вологжиным одной, Настена забежала к Надьке. Та, как всегда, воевала со своей ребятней. Во весь голос ревела, сидя на полу, видно только что отшлепанная, самая младшая, Лидка, родившаяся уже без отца; всхлипывал возле кровати Петька; отвернулся к окну старший, Родька. Надька с грохотом метала в тесной кути посуду

и, надрываясь, кричала время от времени на ребятишек, чтобы они замолкли.

– Хотела коврижку на два дня растянуть, прихожу, а они ее уж умяли, принялась она жаловаться Настене. – Ну, не прорва ли, не прорва ли – скажи ты мне! И ведь нашли, паразиты. Проглотили и не подавились. Теперь я вас накормлю, теперь вы у меня три дня мышинной крошки не получите. Перестанешь ты или нет? – прикрикнула она опять на Лидку. – Ты меня доведешь, я над тобой че-нить доспею. Она же брюхо набила, и Она же еще ревет, а я виноватая. О-е-ей! Почему пропасти-то на вас нету? Вот чем я вас дальше буду кормить, чем? У меня мучицы на одну квашонку осталось – и все, потом хоть всем в один мешок завязывайся и в Ангару. Я уж два раза ее, муку-то, со слезами с горькими выписывала, мне ее больше никто не даст. А они хоть бы капельку че-нить понимали. И ведь он-то, балбес, уж не маленький, – Надька ткнула рукой в сторону Родьки, – должен бы хоть немножко че-то соображать нет, лишь бы счас наглотаться, лишь бы мать обмануть. Я для себя ее, че ли, прятала, для себя берегла? Для вас же, паразиты вы ненаедные, чтоб вам завтра было че жевать. Чтоб вам же с голоду не подохнуть. А теперь хоть подышайте, раз так – не жалко.

– Скоро Ангара пройдет, рыбу буду ловить, – буркнул от окна Родька.

– Ты там помалкивай: рыбу он будет ловить. В прошлом году не проедали твою рыбу и нонче объедемся. Куда только кости от рыбы девать станем – никак не придумаю. Стой и молчи, чтоб я голосу твоего больше не слыхала. Рыбак, мать твою так. В кладовке ты хорошо рыбачишь, а не в Ангаре.

Настена с трудом перебила ее:

– Пойдем, Надька, на Максима посмотрим. Посмотрим, какие теперь мужики, и обратно.

– А че на него глядеть? Только душу травить. На чужое счастье не наглядисься.

– Не пойдешь, что ли?

– Да погоди, пойду. Дай мал-мало прибраться, чтоб их тут можно было оставить. Не стой ты там как истукан, – крикнула она на Родьку. – Неси дров да затопляй печку. И не вздумай мне удрать. Ишь, запечалился, в какую сторону лыжи наострить. Дома весь вечер будешь сидеть – так и знай. Чтоб никто мне из избы даже не высовывался.

Лидка сообразила, что мать собирается уходить, и заканючила:

– С тобой хочу. Возьми меня, возьми.

Мать показала ей из кути сковородник, и Лидка понимающе притихла.

– Видала? Вот так. Где сидишь, там и сиди, прижми свой хвост. Со мной она пойдет. Еще в чужих людях я с вами не скандалила. У всех ребятишки как ребятишки, а эти идола какие-то, наказание божье. Ой, че с них будет, че с них будет? – кто бы мне сказал.

Настена подняла Лидку с пола и, почти не чувствуя ее тяжести, перенесла на кровать. Там девчонка сразу свернулась клубочком и, всхлипывая, вздрагивая от всхлипов всем тельцем, закрыла глаза, хорошо понимая, что никакой радости ей ниоткуда сегодня не дожидаться и самое лучшее – уснуть и до нового дня не просыпаться. Настена погладила ее по голове, но от ласки Лидка завздрагивала сильнее, и Настена отошла от девчонки.

Нельзя, конечно, похвалить, но трудно было и судить Надьку за глотку. Она и до войны была бабенкой шумной и не напрасно не ужилась со свекровью, которая невзлюбила ее за строптивый характер, так что очень скоро Надьке с Витей пришлось отделяться в свою семью. Родня у Надьки жила где-то на Лене, здесь Надька считалась пришлой, чужой. Витя ей попался на счастье: работящий, спокойный, добрый, опустит свой светлый чубчик на лоб и улыбается, сколько бы Надька ни разорялась перед ним. Надоест – сгребет в охапку, оттянет шутя широкой, как лопата, ладонью по одному месту, и Надька довольна. Да она и не скандальная сама по себе была, просто шумная: где Надька – там обязательно гвалт, смех, пересмешки, в которых больше всего ей же и доставалось, но которые без нее не начинались. И если б не война, скорей всего помякла бы, присмирела она возле ребятишек да возле Вити, к тому дело в последнее время и шло, да война и в первую же зиму смерть Вити оглушили и ожесточили Надьку. По Вите она убивалась так, что кровь стыла в жилах от ее крика. Она

тогда только-только родила, и ее приходилось загонять домой, чтобы она кормила девчонку, – Надька уходила то в лес, то на берег, и в Атамановке всерьез боялись, как бы она себя не решила. Но обошлось: перегорела Надька, пошла опять на работу, пошла колотиться-молотиться, чтобы прокормить ребятишек. Надеяться было не на кого: свекровь, невзлюбив Надьку, не привечала и внучат от нее. Как ни старалась Надька, а концы с концами не сходились. Дополнительный хлеб, который полагался на семью погибшего фронтовика, она выбирала еще зимой, а дальше билась, билась ото дня ко дню, и все не хватало – ни поесть, ни одеться. Ребятишки все были в Витю: белесые, молчаливые, а война и дерганый Надькин характер сделали их еще и боязливými, тихими. Казалось, они и сами не верили, что выживут. Выйдут все трое за ворота и стоят, смотрят на улицу, дожидаясь мать, – до того сироты и пострадалицы, что у доброго человека зайдет от жалости сердце. Крикнет он Родьке, поведет с собой и сунет ему что-нибудь в руки, а Родька еще и отказывается. Настена, как могла, тоже баловала Надькиных ребятишек, особенно девчонку, но в последние недели за своей бедой почти забыла о них, и сейчас, подняв плачущую Лидку в кровать, Настена почувствовала вину перед ней.

Пока она дождалась Надьку, уж смерклось, поухший за дневное тепло снег подмерз и приятно хрустел под ногами. Весь нижний край деревни будто вымер ни голоса и ни стука, лишь в нескольких избах слабо мерцал старушечий свет. Собаки и те сбежались к дому Вологжиных, откуда доносилось их бестолково-радостное гавканье. Там же слышались возня и крики ребятишек. Настена и Надька шли молча и торжественно, невольно прямя шаг, охваченные общим праздничным волнением. Впервые оттуда, с войны, с кромешной битвы, пришел человек, чтобы остаться с ними, – пришел как посыльный, как вестник от всех мужиков: скоро, бабы, скоро. Скоро все выяснится окончательно: одним рыдать, потеряв последнюю надежду, другим радоваться, а всем вместе начинать новую жизнь.

У Вологжиных было людно, шумно; две десятилинейные лампы, пристроенные под потолок, освещали в большой горнице застолье. Во главе стола сидел он Максим, похудевший, почерневший, с коротко подстриженной, как у арестанта, головой, глазастый, разомлевше-счастливый. Правая, забинтованная рука висела, оттягивая шею, на марлевой повязке, с левой стороны сидела на коленях, побрякивая медалями на отцовской гимнастерке, шестилетняя Верка, младшая из двух вологжинских девчонок. Надька подошла первой, поздоровалась с Максимом за руку, сказала:

– С возвращением!

И Настена вслед за ней повторила:

– С возвращением.

На лавках вокруг двух сдвинутых вместе столов сидели старики, бабы; рядом с Максимом справа, оттерев от него Максимова отца, деда Ефима, громоздился, что твой друг и брат, уже пьяненький Нестор, слева место было оставлено для Лизы, но она едва успевала бегать из кути в горницу и обратно. Лиза сияла – сияло ее лицо, обычно бледное, унылое, сияли, захлебываясь от радости, глаза, сияла под голубенькой кофточкой прогнувшаяся грудь – сияло все, сияла вся, сияла вовсю. Она усадила Настену и Надьку и, не сдержавшись, обняла их, прижала к себе, зашептала:

– Еще утром ниче не знала. Ячень вместе чистили. Ячень... всхлипнув, она засмеялась и убежала.

Максим, улыбаясь, смотрел на них – на Настену и Надьку. Они сидели как раз напротив него, по другую, дальнюю сторону стола. Настена опустила глаза и услышала, как Максим спросил:

– Ну, Настена, когда ты своего будешь встречать? Настена сжалась и покраснела; как можно спокойней, не сразу подняв голову, она ответила:

– Я уж и не верю, что доведется встречать. Потерялся где-то мой...

– Кто – Андрей потерялся?

– Он в госпитале лежал... тоже раненый. А после его обратно, значит, на фронт. – Настена говорила и больше всего чувствовала на себе внимательный, пытливый взгляд

Иннокентия Ивановича. – С той поры ни слуху ни духу. Не знаю... Ничего не знаю.

– Ну, найдется.

– Дак это... всерьез потерялся, – взялся объяснять Иннокентий Иванович, поглядывая на Настену. – Тут с расследованиями приезжали, спрашивали. Нигде, видать, по документам не значится.

– Перехватили где-нибудь по дороге в другую часть. Это сколько угодно бывает. А письмо теперь не всякое до места доходит, – уверенно сказал Максим, и Настене от этой уверенности почему-то сразу стало легче, будто она и в самом деле не знала, что с Андреем.

Откуда что и взялось у Лизы: вроде не чаяла, не ждала, а стол был заставлен. Куриц, понятно, порешили сегодня, но соленые ельцы достояли с лета и береглись скорей всего специально для этого случая, как и самогонка, которая выстаивалась в четверти не год, а то и не два. Так же и у других баб, кому еще осталось кого ждать: сама будет голодать, ребятишек недокормит, а припас для встречи оставит. Скольким из них уже пришлось доставать этот припас со слезами! Прошлой осенью Агафья Сомова, получив похоронку на сына и отголосив первые дни, собрала баб, выставила спирт, о котором за войну забыли, что он есть, наготовила вместе с блинами да киселем всякой закуски, и пошел тот спирт на поминки. Не у одной Агафьи так вышло теперь только вспоминая, и неизвестно еще, кому судьба готовит такой же оборот. Пока не ошиблась одна Лиза.

Лиза подливала, и за столом стало совсем шумно. Нестор порывался запевать, но его не поддерживали, на него вообще как-то не обращали внимания. Кое-кто из стариков уже отвалился от стола и пристроился на корточках вдоль стены, взявшись за курево; тут же, не подымаясь, они принимали от Лизы стаканы и чокались. Иннокентий Иванович подсел к Максиму и завел серьезный и умный разговор об Америке – о том, как она воюет и когда можно ждать там революцию. Максим отвечал неохотно – видно было, что Иннокентий Иванович знает об этом больше, особенно о революции. Верка задремала на коленях у отца; Лиза хотела унести ее в постель, но Верка ухватила за отца, закричала – пришлось оставить ее в покое. Кто-то спросил, и Максим не в первый, наверное, раз взялся рассказывать, как в госпитале ему хотели отнять руку, но он не дал – добро бы левая, а то основная, правая рука, без нее совсем калека, но теперь с ней еще нянькаться да нянькаться. Надька, хлопнувшая стакан самогонки, поинтересовалась:

– А ее это... в сторону-то сдвинуть можно?

– Куда в сторону? Зачем?

– Ну, ночью-то она мешать не будет?

Максим засмеялся:

– Мешать будет – Лиза отрубит.

– Я тебя, Надька, из колхоза за такие разговоры выгоню, – ухмыляясь, заявил Нестор.

– Сиди ты. Выгоняла. Как бы тебя самого не поперли, – взвилась Надька, но как-то без злости, лишь бы отшить. – Вот придут мужики, и припухнешь как миленький. Хватит, покомандовал над нашим братом, покуражился. Не все коту масленица.

– Я над вами куражился? – обиделся Нестор. – А, бабы? Я куражился? Бабы молчали.

– Слушай ты ее, – вступилась за Нестора Василиса Рогова, которую в деревне звали Василисой Премудрой, – толстая, неповоротливая, ничуть не похудевшая за войну баба, с толстым же, басистым голосом.

– А че слушай?! Че слушай?! Не правда, че ли?

– Не все, Надежда, что тебе под язык попало, можно на люди высказывать, – важно наставляла Василиса Премудрая. – Фронтовик не успел на родной порог заступить, а ты ему подковырки подбрасываешь.

– Какие подковырки? Он, конечно, первым делом нас с тобой всю ночь станет слушать, какие мы ему сказки расскажем, а про Лизу забудет. У него, поди, одна рука только подбита, остальное в сохранности.

Максим опять засмеялся, и вслед за ним заклохтели сквозь кашель старики.

– Я знаю, – наступала Надька, – это ты меня, Василиса, боишься. Бойся, бойся: вот

Гаврила твой придет, я его быстренько охомуताю. Я помоложе тебя буду, тебе со мной не справиться.

– Я за Гаврилу спокойная, – насмешливо ответила Василиса.

– Чего это ты, интересно, за него спокойная? Святой он у тебя, че ли?

– Святой не святой, а с тобой заимоваться не будет. Зачем ему добрую птицу на сороку менять? Ты же сорока, тебе лишь бы пострекотать.

– Ой, глядите-ка, сравнила! – обрадованно зачастила Надька. – Я сорока – ладно, а ты-то что за добрая птица? Уж не та ли, что вся в черном летает да одно только слово знает?

– Нет, Надежда, – хитровато улыбаясь в свою рыжую бороду, вступил Иннокентий Иванович. – Тебе под Василису не подкопаться, там фундамент глубокий. Гаврила с фронта посылки-то, однако, не тебе шлет. Сколько посылок пять, однако, в этом году было? – обернулся он к Василисе. – Или поболе? Та замялась:

– Я не считала.

– Она их даже не открывала, – съязвила Надька. – Вместо табуреток держит.

– А это уж не твоя забота, как я их держу.

Но Надька разошлась, остановить ее было непросто.

– Сколько ты, Лиза, от своего красноармейца посылок получила? – спросила она.

– Ни одной не получала.

– Я бы его после этого на порог не пустила. Че ж ты тоже, как одна худая птица, без понятия? Еще и радуешься.

– А мне и не надо никаких посылок, – счастливо засмеялась Лиза. – Я сегодня говорю: давайте, говорю, корову забьем, чтобы встретить дак встретить. Они меня очурали. Рубите, говорю, тогда всех до последней куриц, чтоб я их больше не видала. Они и куриц пожалели. Даст бог, все наживем, только б вместе быть. Я бы одна загибла, не выжила, от тоски бы загибла, а то руки на себя наложила.

– Значит, загибла бы? – натянута, с подманкой переспросила Надька.

– Загибла бы, загибла.

– А то руки на себя наложила?

– Ага.

– Чего ты приставляешься, Лиза? – вкрадчиво начала Надька и не выдержала, голос ее от обиды дрогнул и раскрылся. – Это че же – значит, мне, Катерине вот, Вере, Капитолине – всем нам руки на себя накладывать? Так, че ли? Думаешь, ты его больше всех любила, больше всех ждала? Думаешь, мы их сами потеряли? Ты, Лиза, не была в нашей шкуре и не говори. У меня бы и руки на себя не заржавело наложить, да ребятишек куда? От него только и осталось на белом свете, что ребятишки, – как же их-то загубить? Ты не знаешь, как все внутри головешкой обуглилось, уж и не болит больше, а горелое-то куда-то обваливается, обваливается... Ты теперь будешь бабой, женой жить, будешь обниматься, миловаться, а я нет, я только рабочая сила, затычка во всякую дырку, кормилица-поилица, я для себя кончилась. Да если бы знать, что так выйдет, я бы хоть раньше-то всласть пожила, чтоб было о чем вспоминать, а то все на потом, на потом оставляла, долго собиралась припеваючи жить дооставлялась. Теперь вся память-то что о войне, эту память ничем не вывести, остальное уж вымыло или высохло – нету.

Лиза легко повинулась.

– Ой, не судите меня, бабоньки, я че-то не то сказала.

– Чего тебя судить? Живи за всех за нас, раз ты такая везучая. Но гляди: плохо будешь жить – берегись. Не пожалеем – это я тебе точно говорю. Я первая тебе яму зачну копать. Мы не виноватые, что наши мужики там полегли. Правда, Максимушка, не виноватые? Скажи ты нам.

– Не виноватые.

– Вот. У нас есть за что на судьбу обижаться. До самой смерти теперь мы на нее будем зло держать. А тебе, Лиза, не за что. Вам сейчас только жить да радоваться, у вас все от самих себя зависит. И если че не так, знай: ты допрежь всего нам в глаза тычешь, что у меня,

у нее, у нее так же могло сложиться, если бы судьба нас и пожалела. А нам это видеть нельзя. Мы ниче такого знать не хотим – понятно?

С шумом открылась дверь, и в избу полезли ребятишки. Лиза кинулась их выпроваживать, но они в голос загалдели:

– Ему не давали – вот этому.

– Он только пришел.

– Дядя Максим, ему не давали.

Ребятишки вытолкали к столу Родьку. Надька, увидев его, взревела:

– Ты откуль здесь взялся? Я тебе че наказывала? Я тебе че говорила? А ну марш отсюда!

Родька, не двигаясь, с жадным мучительным вниманием, во все глаза смотрел на Максима. Встретившись с этим взглядом, Максим тихонько опустил на пол девчонку и поднялся.

– Ты, что ли, Родион? – глухо, перехваченным голосом спросил он.

Родька торопливо закивал.

– Ну, здорово, что ли. – Максим подошел к мальчишке и протянул ему здоровую руку. – Смотри, как вырос, совсем мужик. Молодец. Что ж ты так поздно? – Он достал с полки круглый печатный пряник, какими одаривал всех ребятишек, и протянул его Родьке. Тот взял. – Вот и весь гостинец, больше ничего нету. Посласти, брат, во рту, побалуйся. А завтра днем, будет время, приходи, поговорим. Сегодня, видишь, некогда. Придешь завтра?

Родька опять закивал и попятился к порогу. Ребятишки сомкнулись за ним, зашумели и вывалились в двери.

– Смотри, как вырос, – с печальным удивлением повторил Максим, усаживаясь обратно.

– Они растут, – бодро подтвердил Нестор, которому по привычке не терпелось взять на себя разговор. – Им и война нипочем.

– Скоро она кончится, война-то? – спросила вдруг Лиза. – Ты, Максимушка, оттуда, скажи ты нам – долго еще ждать?

– Для тебя она кончилась, – негромко сказала Надька, но Лиза услышала и обиделась:

– Почему это она для меня кончилась? Думаешь, если он здесь так мне и дела больше ни до чего нету? Ты скажешь. Я не бесчувственная какая-нибудь, что всем плохо, а мне хорошо. И не на заимке живу, чтобы дальше глаз своих не видать, а с народом.

– Скоро, бабы, скоро, – ответил Максим. – Сами знаете, наши до самой Германии уж дошли. Теперь додают.

– А не заворотят? Немец тоже под Москвой был, а прогнали.

– Заворотят? – Максим прищурил глаза и натянулся, – подавшись вперед, словно вглядываясь в одному ему ведомую даль. Лицо его чуть перекопилось. Нет, не заворотят, Лиза. Я обратно с одной рукой пойду, одноногие, покалеченные пойдут, а не заворотят. Хватит. Невозможно, чтобы заворотили, не позволим. Не на тех нарвались.

– Четыре года – куда больше? – закивала Василиса Премудрая. – И мы тут поизносились. Надька не пропустила:

– Че-то по тебе не видно, что ты поизносилась.

– Ох, Надежда... Кто бы тебе язык укоротил? Серьезный разговор идет, а она свои колючки тычет.

– И нам досталось, – подхватила Лиза. – Верно, бабы, досталось? Тошно вспоминать. В колхозе работа – это ладно, это свое. А только хлебушек уберем – уж снег, лесозаготовки. По гроб жизни буду помнить я эти лесозаготовки. Дорог нету, кони надорванные, не тянут. А отказываться нельзя: трудовой фронт, подмога нашим мужикам. От маленьких ребят в первые годы уезжали... А кто без ребят или у кого постарше – с тех не слазили, пошел и пошел. Настена он ни одной зимушки, однако, не пропустила. Я и то два раза ездила, на тятю тут ребятишек бросала. Навалишь эти лесины, кубометры эти, и стяг с собой в сани. Без стяга ни шагу. То в сугроб занесет, то еще что – выворачивай, бабоньки, тужься. Где

вывернешься, а где нет. Настена он не даст соврать: в позапрошлую зиму раскатилась моя кобыленка под горку и на завороте не справилась – сани в снег, набок, кобыленку чуть не сшибло. Я билась, билась – не могу. Из сил выбилась. Села на дорогу и плачу. Настена сзади подъехала – я ручьем заливаюсь, реву. – На глаза у Лизы навернулись слезы. – Она пособила мне. Пособила, поехали вместе, а я никак не успокоюсь, реву и реву. – Еще больше поддаваясь воспоминаниям, Лиза всхлипнула. – Реву и реву, ниче не могу с собой поделывать. Не могу.

– Лиза, Лиза! – останавливая ее, позвал Максим.

– Не буду, Максимушка, не буду. Это я от дурости. Вы разговаривайте, я не буду. – Она ушла в куть и тут же вернулась, встала на то же место, у края застолья. – А облигации? – напомнила она, растревожившись и не в состоянии сразу остановиться. – Последнюю картошку весной в Карду леспромхозовским возили продавать – только бы рассчитаться, на что подписались, только б фронту подмогчи. Все, думаем, легче им там хоть сколько будет. А ты тут как-нибудь, в нас не стреляют, не убивают. Да чтоб ему, фрицу проклятому, и на том свете покою не было. Пускай ему отломится за все, за все наши мучения.

– Кто из нас, непонятно, – я или ты сегодня мужика дождалась? – спросила, оборачиваясь к Лизе, Надька.

– Я, Надька, я. Больше не буду.

– У нас все шиворот-навыворот, – обиженно загудел осоловевший Нестор. Что за народ! На войну мужиков провожали – пели, а встречаем – как на похоронах. Хватит нам Надьку слушать, давайте песню.

Надька шевельнулась, но ответить не успела. Лиза за спиной у Настены полным, чуть подрагивающим от волнения и слез голосом начала «Катюшу». Ей подтянули, и в числе первых подтянул Иннокентий Иванович. Лишь старики у стенки тихонько бормотали меж собой. Пела Василиса Премудрая, пел Максим, размахивал руками Нестор. Отстав, вступила Надька и вдруг сорвалась, уронила на стол голову и затряслась в рыданиях. Лиза обняла ее сзади за плечи и подняла «Катюшу» еще выше, песня не споткнулась, даже когда вслед за Надькой громко, навзрыд заплакала Вера Орлова. Надька оторвала от стола голову, взяла стоящий перед Настеной стакан с самогонкой, залпом выпила и, не вытирая слез, снова запела.

Настена, затаившись, молчала. Она не могла ни говорить, ни плакать, ни пить вместе со всеми – как никогда раньше, Настена поняла здесь, что ничего этого нельзя: не имеет права. Что бы она ни сделала, все будет обманом, притворством – ей оставалось только осторожно слушать и смотреть, что делают и говорят другие, ничем не выдавая себя и не обращая на себя внимание. Она уж и жалела, что пришла сюда, но и уйти теперь тоже было неловко. Все они тут были на виду: и счастливая, сияющая Лиза, и Максим, оглушенный родными стенами и ослепленный родными лицами; и растерявшийся, в один день полинявший Нестор; и хитроумный чтей-грамотей, колхозный счетовод Иннокентий Иванович старающийся обо всем знать поперед других; и уверенная в себе, твердо и спокойно ступающая по жизни Василиса Премудрая; и простоватая, задиристая Надька – все держались открыто и ясно, и если что-то скрывали про себя – без этого человек не живет, – то по малости, по надобности, и скрывали свое, личное, Настена же таила такое, что почему-то касалось всех и было против всех, с чем бы каждый из них к сегодняшнему вечеру ни пришел, против Надьки, и против Василисы Премудрой, и даже против Лизы. Она, эта тайна, соединяла их вместе и отделяла от них Настену; ее еще по привычке принимали за свою, а она уже была чужой, посторонней, не смеющей отзывать на их слезы и радости и не решающейся вторить им в разговорах и песнях.

Хитрит Надька, что не она потеряла Витю, что он полег от вражеской пули сам. Потому она и говорит, потому и спрашивает об этом, что чувствует свою вину – малой каплей не знает, в чем она, эта вина, не понимает, как можно было помочь Вите, но чувствует и мучается. Или меньше, чем надо, молилась, или меньше страдала, думала о нем? Почему Лиза дождалась, а она нет? Почему Василиса Премудрая, хоть война еще не кончилась, не

сомневается, что ее Гаврила придет целым и невредимым? И придет – с такими, как Василиса Премудрая и Гаврила, ничего не делается – всех выбьют, все вымрут, а они вдвоем останутся и заживут спокойно себе дальше. Почему так получается? Нет, что-то тут есть, что зависит и от бабы тоже. Испокон, наверно, баба маялась этой загадкой, пыталась открыть эту тайну, не надеясь только на удачу, и впустую: век от века каждая обходилась своим чутьем, слепым, страстным и неуверенным заклинанием, и если его не хватало, изводилась все от той же вины.

Верила и Настена, что в судьбе Андрея, с тех пор как он ушел из дому, каким-то краем есть и ее участие. Верила и боялась, что жила она, наверно, для себя, думала о себе и ждала его только для одной себя. Вот и дождалась: на, Настена, бери, да никому не показывай. Одна, совсем одна среди людей: ни с кем ни поговорить, ни поплакаться, все надо держать при себе. А дальше, как дальше быть? Как его вызволить из этой беды, как жить, чтобы, не ошибаясь, не запутавшись, помочь? Что бы с ним теперь ни случилось, она в ответе.

Она тихонько выбралась из-за стола и выскользнула на улицу. Было уже поздно, разбежались по домам ребятишки и собаки. Весь нижний край деревни лежал темно и глухо. Настена постояла еще у освещенных вологжинских окон, из которых вырывалась песня, и повернула в заулок к Ангаре. Без людей ей стало легче, и она с укором покивала себе: вот до чего уж дошло – раньше, чтобы успокоиться, держалась людей, а теперь, наоборот, бежит от них. Боль в душе притупилась, но дышалось почему-то со стоном – жалобно и горько. Вздохнув глубоко, всей– грудью, Настена приглушила в себе этот самовольный стон и зашагала по льду вдоль берега вниз, замечая и обходя проруби. Она шла и все смотрела, смотрела на противоположный берег, в тот едва различимый за островом мертвый угол, где хоронился Андрей, веря и не веря, что он тут, рядом; в какое-то выпавшее из-под ее власти, безнадзорное мгновение ей почудилось, что она только что, минуто назад, все выдумала – и что вернулся Максим, и что прибежал Андрей – выдумала, представила, как оно могло быть, и поверила. Отправься она сейчас в Андреевское, и никого там не найдет. Но наваждение сразу же прошло, оставив одну досаду, и еще ближе и безжалостней подступила правда: ничего не выдумала, все так и есть.

Под своим берегом она поднялась на яр и, оглянувшись в последний раз в сторону Андреевского, тяжелым шагом направилась домой – предстояло еще докладывать Михеичу, что Максим ничего не знает об Андрее. Никто ничего не знает, кроме нее, но об этом нельзя проговориться даже в беспамятстве.

10

Еще днем Настена никуда не собиралась, но к обеду замело, запуржило со снегом; Настена спохватилась, что воды в кадке на дне, и, пока погода совсем не сдурела, кинулась на Ангару. На Ангаре задувало во всю моченьку, мокрый липкий снег несло по воздуху мутным прогонистым течением и несло тоже вниз верховиком. По привычке посмотрев в сторону другого, утонувшего теперь в этой кутерьме, берега, Настена подумала, что вот сейчас бы туда и бежать, никто не увидит. Подумала просто так, мельком, но сердце, зацепившись за эту подсказку, вдруг взнялось: а что, если правда побежать? Плюнуть на все и побежать? Когда еще дождешься такого удобного случая? Она торопилась с водой обратно и, унимая нетерпение, уж знала, что побежит. Это одним духом принятое решение вызывало суматошную радость и отчаянность; казалось, удерживай ее сейчас кто угодно, всех бы обманула и убежала.

Но удерживать ее было некому: Михеич на конном, а свекровь, как обычно, дремала на печке. Настена мигом достала из подполья ведро картошки, сверху отбавила в чугунок, чтобы старикам не гоношиться, если понадобится вечером варить, остальное высыпала в брезентовую сумку. Сбегала в амбар, принесла припрятанный заранее мешочек с горохом и отрезала полбуханки хлеба. Хлеб был желтый, тоже с горохом – во всей деревне наступило гороховое царство с гороховой музыкой: колхоз недавно расщедрился и выдал его на

работников почти девять центнеров, так что гороховую кашу теперь заедали гороховым хлебом и прикусывали круглым горохом.

Настена быстро собралась, сменив обутые утром чирки на катанки, а фуфайку – на плюшевую жакетку, и мимоходом стыдливо заглянула в зеркало. В фуфайке идти через Ангару было бы, пожалуй даже удобней; но хотелось показаться на глаза мужику поаккуратней Он-то, может, ничего и не заметит, ему там не с кем ее сравнивать, но она сама в выходном чувствовала себя праздничней и опрятней, вместе с одеждой снимался какой-то рабочий груз, какая-то тягловая, будто сбруя, зависимость от работы, когда уж и не помнишь, кто ты – женщина или нет, в какой ты поре и что у тебя на душе ничего не помнишь, только давай и давай, нажимай и нажимай. Потому и любила Настена по вечерам, покончив с делами, пусть ненадолго, да переодеться в чистое, невольно тогда являлось ощущение своей молодости и красоты – того капризного богатства, которое чем дальше прячешь, чем меньше помнишь, тем быстрее оно убывает. А переодевшись, Настена и ступала осторожно, словно боясь в себе что-то повредить, и улыбалась ласковой и теплой, опять-таки словно оберегая какую-то свою, ее одной касающуюся тайну, для которой еще не наступило время. В такие минуты она, не смиряясь с войной, с нуждой, с одиночеством, берегла и готовила себя для будущей счастливой жизни. Знала Настена: стареют с годами, а душой можно остыть и раньше лет – этого она боялась больше всего. Сколько людей, и здоровых и сильных, не отличают своих собственных, богом данных им чувств от чувств общих, уличных. Эти люди и в постель ложатся с тем же распахнутым, для всего подходящим удовольствием, с каким садятся за стол: лишь бы насытиться. И плачут, и смеются они, оглядываясь вокруг – видно, слышно ли, что они плачут и радуются, не потратиться бы на слезы зря. Эти свое отзвучали: тронь их особой тронью – не поймут, не отзовутся, ни одна струночка не отдастся в ответ чуткой дрожью: поздно – заглохло, закаменело, и сами они никого также не тронут. А все потому, что в свое время не умели или не хотели остаться наедине с собой, позабыли, потеряли себя – не вспомнить, не найти.

Сборы заняли у Настены не больше десяти минут, а ей показалось, час до того не терпелось бежать. Подхватив наконец сумку, Настена выскочила на улицу и приостановилась, торопливо оглядываясь и приноравливаясь к ветру. Лишняя осторожность не мешала, поэтому она припустила через телятник: если кто ненароком и увидит – мало ли зачем ей понадобилось в баню, пусть хоть в клящую пургу? Здесь, возле бани, такая густая стояла круговерть, что даже ближние избы едва мерещились: уже без боязни Настена скатилась на лед и взяла вправо, туда, где дорога поворачивала на реку. Только теперь она спохватилась, что дорогу могло занести – тогда придется пробираться наугад, а это сейчас опасно: в такой кутерьме недолго и заплутать, потерять берега и укатать невесты куда по ветру, который так и сталкивал с ног, так и сносил, не давая держать направление. Но дорога, на счастье, еще просматривалась, ее заносило перед торосами, в основном же снег протаскивало мимо.

Идти приходилось низко согнувшись, пряча лицо, чтобы не захлебнуться в сплошном потоке мокрого месива. Ветер бил ровно и сильно, без порывов, одной бешеной струей. Гудело как в трубе – мощным и длинным гулом, но и сквозь него отчетливо слышалось вторым голосом шипение несущегося снега. Уже в трех шагах ничего нельзя было рассмотреть, хотя вокруг казалось светло, но светло каким-то белесым, как в тумане, непроглядным, рвущимся в движении, мелькающим светом. Голые торчащие льдины звенели, снег, налетая на них, брызгами разбивался на стороны, там его подхватывало и несло дальше.

Откуда сорвалось? Сколько Настена помнила, никогда в эту пору так не заметало. Вот тебе и весна – март покатился под горку.

Она стала терять дорогу, но пока находила ее, и всякий раз слева; как Настена ни упиралась, как ни правила под ветер, ее сносило, скашивало вниз. Можно представить, куда бы ее теперь утарвало без дороги. Но и различать старый санный накат становилось все трудней и трудней. Гребни наносов нарастали и смыкались. Настена искала клочки

вмерзшего по обочинам сена, шляпки обтаявшего грибками конского навоза, оставшиеся с тех пор, как с Покосного возили сено, – по этим приметам и шла. Она устала, поначалу сдуру рванула изо всех сил и быстро запалилась, тяжелая сумка оттягивала руки, ветер сбивал дыхание, ноги вязли в снегу, на катанки налипало, полушалок и жакетка вымокли. Ветер, правда, был не холодный, южный, но оттого и мокро, слякотно, что не холодный, – неизвестно еще, какой лучше.

Всматриваясь влево, она искала остров; дотянуть бы до него – там легче, там протока узкая, можно брести напрямик. Настена не боялась, что не дойдет, – дойдет, никуда не денется, но выйти хотелось как можно ближе к распадку, чтобы у берега не гадать, где он, не метаться из стороны в сторону. И что потащила в пургу, нисколько не жалела: ей надо было идти, может, оттого и выиграла сегодня непогода, чтобы прикрыть ее от чужих глаз. Почему-то не верилось только в сухое тепло, в то, что наступит такая минута, когда она сбросит катанки, вытянет гудящие ноги и прикроет от удовольствия глаза, это представлялось чересчур далеким, чуть ли не сказочным.

В конце концов она потеряла дорогу и не нашла ее – все под ногами слилось в одной движущейся неразберихе. Тогда Настена решила больше забирать против ветра, чтобы, уткнувшись когда-нибудь в берег, наверняка знать, что речка где-то правей. И все же то, что она не удержала дорогу, обидело Настену; без страха, только от обиды и усталости, она всхлипнула и зачем-то, крикнув, позвала Андрея. Глупо было бы надеяться, что ее кто-то услышит голос тут же скомкало и кинуло вниз.

Она еще долго шла, с трудом уже помня, куда идет, но, подняв однажды голову, вдруг заметила, что ее не пришлось тотчас же прятать. Ветер, казалось, ослаб. Она остановилась и огляделась: позади несло все с той же безудержной силой, но здесь что-то мешало ветру, обо что-то он задевал, сбивался с прямого хода. Пройдя еще немного вперед, Настена увидела берег. То был не остров, остров она пропустила, не заметив, – то был уже материк. Через Ангару, слава богу, перелезла, теперь надо искать Андреевское. По тому, как изгибался берег, Настена поняла, что высокий лесистый мыс, который она помнила за островом, остался слева; он-то, видать, и загораживал от ветра. Значит, как она и рассчитывала, ей надо спускаться вдоль берега вниз. Теперь, считай, добралась, теперь недалеко. Внятно и глухо шумел по горе сосняк, на неширокой луговине выпрямившегося берега полоскало на ветру голые березы и осины. Вправо Настена старалась не оборачиваться, там по-прежнему творилось все то же. В спину подталкивало, и она, не поспевая ногами, спотыкалась, однажды упала, вывалив из сумки на снег две картофелины, и почему-то, с какой-то невольной досады, не захотела поднять их, оставила замерзать.

С ходу она едва не проскочила речку, но вовремя заметила, как в бок с силой втягивает снег, и поопнулась. А то бы, глядишь, ухлестала до Рыбной. Настена не могла понять, везет ей сегодня или нет: вроде благополучно перешла Ангару, не заблудилась, не завалилась и лишнего пути по этой негляди почти не сделала – другая бы радовалась, как все удачно складывается, а ей отчего-то казалось, что все идет, наоборот, шиворот-навыворот, не так, как могло бы идти. И не одной только усталостью было сбито с самого начала и придавлено настроение – чем-то еще; она боялась думать, что – это «что-то» есть нехорошее и верное предчувствие.

Вскоре она поднялась к зимовью.

Андрей был здесь: с трубы на крыше сбив, ало дым. Не хватало еще, чтобы после всего, что она вынесла, пришла к разбитому корыту, к пустому зимовью. Помня, как она в прошлый раз напугала мужика, Настена не полезла в дверь. Она отдышалась, вытерла ладонью мокрое лицо и только после этого осторожно постучала в окошко:

– Андрей, это я! Андрей!

Он услышал, выскочил, обхватил ее за плечи, что-то говоря и подталкивая к двери, – она не понимала, на нее вдруг в одно мгновение навалилась такая страшная усталость, что не было сил пошевелиться. Перешагивая через порог, она запнулась и чуть не упала – это ее, и без того близкую к слезам, доконало: не сдерживаясь больше, она заплакала. Андрей

растерянно топтался возле, не зная, что делать и как быть, да он, похоже, все еще не в состоянии был поверить, что это действительно она.

– Мог бы встретить, – капризно и запальчиво выкрикивала она сквозь слезы. – Думала, не дойду, думала, упаду, а он тут сидит, ему хоть бы хны.

– Откуда я знал, что ты сегодня пойдешь?!

– Откуда! Знать надо было! Откуда!

Он догадался наконец снять с нее жакетку и полушалок, раскисшие пудовые катанки она с отвращением скинула сама. Он подобрал их, взвешивая в руках, удивленно покачал головой и пристроил сушить к печке. Печка топилась, в зимовейке было тепло, спокойно; приятно и домовито постреливали горящие дрова да еще позванивала в окошке стеклина – единственное напоминание о том, что творилось на улице.

Андрей подсел к Настене на нары и осторожно спросил:

– Что прибежала-то? Ничего не стряслось?

– Что прибежала-то? – снова вскидываясь, передразнила она. – К тебе прибежала – вот что! Он, еще спрашивает! – Уже другим, остывшим голосом она ответила: – Ничего не стряслось.

– Отчаянная ты. Я и не знал, что ты такая отчаянная. Сегодня зверя и того из норы не выгонишь, а ты осмелилась.

– Ты вообще ничего не знаешь. Живешь, как крот, в потемках и жену свою не разглядишь.

– Как крот, – согласился он, но не дал себе сбиться с радостного, счастливо-удушливого настроения и спросил: – Проголодалась, поди? Обедать будем? Или ужин скоро, я все перепутал.

– Чем ты меня, интересно, собираешься кормить? – Едва он заговорил об этом, Настена почувствовала, что в самом деле хочет есть. Она не садилась за стол с утра, а теперь день подвигался уж к вечеру. Отказываться нельзя было еще и потому, что она видела, как ему хочется услужить ей, хоть чем-нибудь удивить, показать себя хозяином.

– Ущицу можно сварить. Я тут взялся рыбалить помаленьку.

– Только я на улицу больше ни за что не пойду.

– Сиди, я сам.

От приоткрыл дверь и, высунувшись, не соступая с порога, достал откуда-то сверху мерзлую рыбину – хорошего, килограмма на три, налима и со стуком опустил его на стол.

– Я вижу, ты здесь живешь, однако, получше, чем мы, – удивилась Настена.

– Да вот вчера подфартило. Как нарочно, для тебя. Фартовая, выходит, ты.

– Ну, еще бы не фартовая, – с непонятной, сдержанной интонацией отозвалась она.

Он умолчал, каким образом приспособился рыбачить. Этого сказать он ей не мог. Еще совсем недавно он и подумать не смел что способен позариться на чужое, а теперь вот докатилось ужи и до этого. Кто-то из Рыбной поставил уды возле своего верхнего дальнего острова со стороны протоки, у тихого илистого берега, а он однажды ночью случайно наткнулся на них и не утерпел. Он знал, что каждый день таскать пешню в деревню и обратно никто не станет, и действительно отыскал ее в кустах, там жел лежала маленькая совковая лопата с коротким черенком – рыбак, видать, во всем любил обстоятельность. Уды обычно проверяют по утрам, Гуськов же взялся посматривать их по вечерней темноте, чтобы за ночь снова успело затянуть лунки льдом. Так он добыл уже четырех налимов. Работал он чисто и аккуратно, не оставляя за собой следов; едва ли хозяин мог что-то заподозрить, к тому же на долю хозяина приходился ночной, может быть, самый удачный клев. Хорошо сказано – «работал», такую работу Андрей сам раньше называл пакостью.

И не нужда, та нужда, что хватает за горло, заставляла его выходить на этот нечистый промысел. У него еще осталось мясо, постоянно что-нибудь подбрасывала Настена. Запас, как известно, карман не ломит, но тут больше исподволь подталкивала и зудила Гуськова какая-то тайная и властная обида за себя, вызывающая столь же старательно припрятанное, со всех сторон замаскированное желание досадить тем, кто, не в пример ему, живет открыто,

ходит не прячась и не боясь, хоть в чем-нибудь перебежать им дорожку и тем самым почувствовать себя словно бы причастным к их судьбе: без него было бы одно, а с ним другое. И пусть его не видят и не слышат, не подозревают о нем, но он есть и его существование так или иначе должно сказываться на других, иначе он мертвец, тень, пустое место. Удовольствия это не доставляло, для удовольствия надо признаваться в том, что делаешь, но чему-то, маленькому и убогому, потрафляло, что-то питало. Он не доискивался, что именно: необязательно знать, чем облегчаешься, было бы легче.

Уха на горячей печке забулькала быстро, и они поели, причем для Настены нашлась даже отдельная деревянная ложка, вырезанная Андреем специально для таких вот праздничных случаев. Он постепенно обзаводился хозяйством, варили уже не в маленькой манерке, а в трехлитровом котелке, который Настена на прошлой неделе принесла в баню вместе с фуфайкой.

Они тогда виделись, но, как всегда в бане, ошупью. У Настены после этих встреч оставалось неприятное и брезгливое чувство своей неразборчивости и нечистоплотности; ей по-прежнему мерещились подмена, обман, и хоть она понимала, что никакой подмены нет, привыкнуть и успокоиться все же не могла: прислушивалась к голосу Андрея – его ли? Искала и, конечно, когда ищешь, находила в его повадках то, что раньше не замечала, – пугала и запутывала себя почему зря. Но особенно неприятно было ложиться на холодный и скользкий, пахнущий прелым прогорклым листом, высокий полоч, куда приходилось забираться на четвереньках; Настене казалось, что она сразу же вся там покрывается противной звериной шерстью и что при желании она может по-звериному же и завывать.

Здесь другое дело. Здесь они могли смотреть друг другу в глаза, по его лицу она догадывалась, о чем он думает, здесь их близость оправдывалась прежней семейной жизнью, а то, что эта близость происходила в столь чужой и неказистой обстановке, добавляло Настене тревожного, незнакомого, но и желанного волнения, переходящего за черту обычного в таких случаях рабочего чувства.

Обида за их горькое положение мужа и жены, которым приходится встречаться тайком и нечасто, искала у Настены возмещение в самих встречах; Настена хотела бы, чтобы каждая из них вмещала в себя годы жизни и наполнялась особым смыслом, особой силой и лаской. Как того добиться, она, понятно, не представляла; терзаясь, мучаясь, боясь завтрашнего дня, она мечтала о чем-то большом, доступном ей и все-таки неясном, надеясь лишь, что, приди оно, оно бы в ней не обманулось.

Однажды, кажется, что-то похожее случилось, но когда, в какое из свиданий, она не знала, и это ее тоже мучило: как можно было такое пропустить? Уж не бесчувственная ли, не деревянная ли она? Правда, Настена не была до конца уверена, что оно действительно произошло, но слишком многое показывало, что да, произошло – еще и потому она была сегодня взбудораженной и растерянной.

Она поднялась из-за стола и, припадая на гудящие, налитые усталостью ноги, перебралась на нары и легла. Теперь ему можно было сказать, с чем она пришла.

– Андрей, знаешь что?

– Что?

Но она передумала:

– Ладно, потом.

Настена решила подождать, когда он придет к ней. Он все еще оставался за столом; Настена заметила, что Андрей ест медленно, – сказывалась, видимо, его привычка в последнее время никуда не торопиться. Наконец он поднялся, но, вспотев от еды, полез охлаждаться в дверь. Настену окатило хватким морозным ветром, и она закричала:

– Закрывай скорей.

– Закрыл, закрыл. Вроде послабже дует.

– Ага, послабже. Он подошел и присел к ней. – Все еще не согрелась, что ли?

– Я согрелась, а как вспомню, что скоро обратно бежать, всю прямо дрожью обдаст.

Сюда-то до смерти пристала.

– Побудь подольше, отдохни. Одна ты не пойдешь, я тебя доведу.

– Как же подольше-то, Андрей? Я и так сорвалась, никому ни слова, ни полсловечка. Меня уж теперь, поди, потеряли. Прибегу середь ночи – кому это понравится? Я и без того приповадилась по ночам шастать. Вот, думают, невестка... – Представив, как она будет стучать в запертую дверь, Настена закрыла глаза.

– Отец ни о чем таком не спрашивал?

– Нет пока. Молчит. И как он по сю пору не хватился ружья, не пойму. Скоро одно к одному сойдется.

– Ты хоть придумала, что говорить, когда хватится?

– Придумать-то придумала... – Настена поморщилась.

– И что придумала?

– А зачем я тебе стану свои враки передавать? Не хочу. Я уж как-нибудь сама.

Он неловко погладил ее по голове:

– Тяжело тебе, Настена?

– Да нет. – Она открыла глаза и улыбнулась. Лицо ее, опаленное ветром, в тепле разгорелось и пылало чистой малиновой краснотой, улыбка на нем вышла слабой. – Вот за тебя сердце болит. – Она не хотела и не стала говорить всего, что чувствовала. – А сама я что? Я дюжая, сколько надо, смогу. Без тебя-то, думаешь, легче, что ли, было? Каждый божий день обмирать, живой ты сегодня или нет. Тут я хоть знаю, что живой.

– Может, нам пока не видаться, чтоб ты отдохнула маленько? У меня все есть, я проживу.

– Ты почему такой-то? Отдохнула, говорит. А ты спроси, хочу я отдыхать? Скоро и так Ангара раскиснет, потом покуда пройдет, покуда установится наотдыхаемся, успеем. Если и тебя еще не видать – что мне тогда остается? Ничегошеньки ты не знаешь. – Настена чуть помолчала, вздохнула глубоко и, решившись, медленно и осторожно, с натянутым, отстраненным вниманием к своим словам, произнесла: – Забеременела, кажется, я, Андрей.

– Что?! – У него вышло не «что», а с охом: – Что-ох! – Он не усидел, вскочил. – Ты это правду... правду говоришь?

– Точно еще не знаю. Но никогда так не бывало. Кажется, правду. – Она отвечала по-прежнему медленно и осторожно, словно стараясь оттянуть тот миг, когда выяснится, как он к этому относится.

– Что ж ты молчала? – неуверенно начал он, и, пока говорил эти первые попавшиеся слова, его проняло, весь смысл случившегося дошел до Андрея и окатил его с головы до ног своим жаром. – Нас-те-на! – негромко и истово взмолился он и, обессилев, сел, схватил Настену за руку. – Вот это да! Черт возьми! Это что ж теперь такое?! Ты понимаешь? Ты понимаешь, Настена? Вот оно, вот... Я знаю... теперь я знаю, Настена: не зря я сюда шел, не зря. Вот она, судьба... Это она толкнула меня, она распорядилась. Как знал, как знал – ты понимаешь? Как чувствовал. А еще, дурак, боялся. Да ради этого... – Он не вскрикивал, он выдыхал слова запаленным сухим голосом, кашляя и смеясь одновременно, глаза его разгорелись и смотрели куда-то далеко, словно пронзая стены; обращаясь к Настене, он, казалось, и не видел, не замечал ее – он говорил для себя и убеждал себя. – Это ж все – никакого оправдания не надо. Это больше всякого оправдания. Пускай теперь что угодно, хоть завтра в землю, но если это правда, если он после меня останется... Это ж кровь моя дальше пошла. Не кончилась, не пересохла, не зачахла. А я-то думал, я-то думал: на мне конец, все, последний, погубил роду. А он станет жить, он дальше ниточку потянет. Вот ведь как вышло-то, а! Как вышло-то! Настена! Богородица ты моя! – Он кинулся на нары и припал к Настене, обнял ее, что-то еще шепча и поводя большой лохматой головой.

– Нястена, обрадованная поначалу его радостью, слушала затей уже с обидой и тревогой: что ж он о себе только? А она? Какое же для нее-то оставлено место? Где оно?

Тревога и обида эти и были в ней недалеко – вот почему они поспели так скоро. Неделю назад, когда Настена впервые заподозрила в себе начало новой жизни, она едва не задохнулась от нахлынувших на нее – давно отринутых, оскорбленных, упрятанных и вот

теперь освободившихся и оправдавшихся чувств: господи, неужели?! Неужели и она тоже, как все нормальные бабы, способна стать матерью? Неужели бог сжалился над ней и даровал ей это счастье? Неужели после стольких лет супружеской жизни, после стольких напрасных желаний, стараний и молитв теперь, когда казалась потерянной всякая надежда, она каким-то чудом вздохнула и понесла? Что случилось? Она собиралась ложиться на ночь и уже задула лампу, когда ее поразило этими «неужели?», оторопев, она присела на край своей широкой деревянной кровати, чуть отдышалась, потом плотнее задернула на двери занавеску и разделась – голой, в чем мать родила, встала у окна под луну, как нарочно низкую, круглую, яркую, и принялась внимательно, с нетерпеливой жадностью осматривать себя, пытаясь глазами найти в себе какие-то перемены. Тело ее, сильное и крепкое, полное не лишней, а своей собственной, здоровой полнотой, светилось теплой, парной белизной, подрагивало от волнения и внимания, но ничего, однако, не объяснило ей, а заметив на груди похожую на большой мрачный крест тень от оконного переплета, Настена напугалась и отошла. Она легла, но легла поверх одеяла, опустив по бокам руки, прикрыв глаза и задержав дыхание, чтобы не помешала никакая малость, и теперь уже прислушалась, напрягая внимание на одной, где-то глубоко затаившейся точке, и достала до нее – достала, отделила от всего остального, тронула, и та в ответ слабо, чуть внятно отозвалась: есть.

Так ей почудилось, пригрезилось, и тело ее с той поры занялось ожиданием: правда ли есть, не обманулась ли она? А если есть, как быть, что делать дальше?

Действительно, как быть, что делать? Счастье-то счастье – и какое счастье! – но что с него, если вошло оно в самое неподходящее время? Где же оно,жданное-пережданное, было раньше, почему открылось только сейчас? Ведь она не вдова, не мужняя жена, неизвестно кто сегодня и неизвестно кем останется завтра. Все для Настены перепуталось, все сошло со своих мест и встало с ног на голову. Ей ли не знать, что ни с кем никогда, кроме мужика своего, она не бывала, а деревне известно другое – деревне известно, что вот уже четыре года она его не видела в глаза. Так ветром, что ли, надуло ей это счастье? На ветер оно бы неплохо свалить, да не выйдет, надо искать живую душу. А зачем ее искать, зачем на кого-то, невинного, взваливать грех, если его и не было вовсе? А кто есть, о том не скажешь.

Все, все перепуталось, перемешалось, а потом перепутается еще больше.

А может, ничего нет, может, попусту она мечется, зря изводится? Мало ли как случается у бабы, раз на раз, ясное дело, не приходится. А она уж в панику ударилась – может, напрасно? Как не было, так и нет. И не будет.

А что лучше – чтобы было сейчас или не было совсем? Если бы довелось выбирать – что, в самом деле, лучше? Остаться в положении или никогда его не дожидаться?

Она и побежала к Андрею, чтобы при нем хоть немножко разобраться во всем этом, прийти к какому-то решению, как-нибудь успокоиться. И до самой последней минуты не знала, стоит ли открываться, не подождать ли до полной уверенности, пригревшись пока, приласкавшись возле него, набравшись терпения и сил. Много ей не надо – побыть возле человека, с которым она поделила судьбу, который, похоже, все дальше и дальше отводит ее от людей, оставляя только для себя. К кому же еще приткнуться, у кого найти успокоение, как не у него?

Но она открылась и, слушая его сбивчивый, заходящийся от радости шепот, пожалела: зря сказала. Он придавал этому такое значение, о каком она не подумала.

– А я? – приподымаясь на нарах, спросила Настена. – Как же со мной-то быть? Я же середь людей живу – или ты забыл? Что я им, интересно, скажу? Что я скажу твоей матери, твоему отцу? Они ведь, наверное, спросят, поинтересуются.

Так близко, совсем рядом, был этот вопрос, но он почему-то не ожидал его. Он выпрямился и опять сел, уставившись на нее с удивленной оторопью.

– Не знаю, – пожал он плечами. – Плевать нам на все.

– Тебе хорошо плевать, ты здесь один.

– Что такое ты говоришь, Настена? Ты сама-то не рада, что ли?

– Я радая, да как теперь быть-то? Куда мне себя девать? Ведь это скоро на глаза полезет, откроется.

– Помнишь, сколько мы ждали, сколько надеялись? – В его голосе была обида, он по-прежнему не хотел ничего понимать.

– Помню... как не помнить. Ты почему такой-то, Андрей? Что ты меня уговариваешь? Не я ли ночи напролет молилась, все просила ребеночка от тебя. Ничего мне больше не надо было – только чтоб родить, пользу тебе принести. Не я ли до смерти боялась остаться сухостойной? Грех-то на меня ложился, не на кого-нибудь. И ты на меня его относил. Мне много хуже было, чем тебе, я со всех сторон обманщицей, воровкой какой-то выходила. Отец с матерью понадеялись на меня, родили, чтоб и я тоже рожала, ты понадеялся, взял за себя, а я – вот она такая свиристелка, полюбуйте на нее. Как будто чужое место занимала, на чужое счастье позарилась. Я себя сто раз прокляла – ты не знаешь. Если б можно было, я бы давно потихоньку пропала куда-нить, а то в Ангару кинулась, чтоб освободить тебя. Ты сам не пускал. Потом эта война. А ты говоришь: помнишь? Кому же еще и помнить, если не мне? Кому радоваться сейчас, плясать, песни петь от радости? Я, может, заново теперь родилась. Господи! Но ведь тебя же нет! Тебя нет, Андрей, нет! – простонала Настена и махнула рукой, словно отгоняя от себя это лохматое неуклюжее видение. – Ты не велишь мне ни одному человеку шепнуть, что ты здесь. Ну нет – значит, нет, я молчу и молчать буду. Я понимаю. Но ведь тогда и ребенок, если он будет, не твой. Чей угодно, только не твой. Тебя нет, и неизвестно, живой ты или неживой. Может, твои мать с отцом мне спасибо скажут, когда я им без тебя в подоле принесу? Может, люди пожалеют? Ага. Знать бы им, что ты неживой, и то легче, хоть кто-то бы понял, не осудил одним махом. А то ведь считается, что ты в любой момент можешь прийти ко мне. А я-то, я-то что делаю, как тебя дожидаюсь? Тут на меня самая распоследняя собака ветер понесет – и правильно, гляди, на что идешь. Трудно, однако, одной от людей будет с моим грузом – боюсь не справиться, Андрей.

Он молчал, тяжело, неподвижно глядя куда-то в угол. Он молчал долго, и Настене стало сначала неловко, а затем уже и страшно за свои слова. Выходило, что она отказывалась от ребенка. А вдруг сейчас как раз то самое переломное время, когда, чуть завязавшись, он может продолжаться, а может и задохнуться. Откажешься – ничего не будет. Все от нее зависит. Будет плохо, и не будет – тоже плохо. Но отказываться от него она не хотела – нет, жутко, невозможно казалось ей взять на себя такую тяжесть – отречься от своих же собственных надежд; она бы хотела, чтобы ничего от нее больше не зависело и чтобы то, что есть, ни в чем изменить уже было нельзя.

– Я не знаю, Андрей, – обращаясь к нему за помощью, виновато добавила она. – Не знаю, что делать. Растерялась.

– От судьбы, Настена, никуда не уйдешь, – отозвался наконец он. – Хошь делай заделайся поперек ей, а она на своем поставит. – Он невесело, утверждающе усмехнулся, будто знал об этом больше других, помолчал еще, теребя себя за бороду, и заговорил уверенней и злей: – Это ж она меня с войны сняла и сюда направила. Она. Может, против сил моих направила, чтобы успеть нас до смерти моей свести. Ты думаешь, легко мне здесь зверюгой лесной прятаться? А? Легко? Когда они там воюют, когда я тоже там, а не здесь обязан находиться? Я здесь по-волчьи научился выть. Хочешь, покажу? Не дожидаясь согласия, он поднялся, тяжелым шагом подошел к двери, распахнул ее и, выгнувшись вперед, не сразу, начав со всхлипа, словно доскребаясь до нужного голоса, и, достав, наострив его, пустил тонкий и длинный, режущий по живому, жалобный и убийственный стон. От ужаса Настена вскочила на колени, схватившись руками за грудь. Андрей вдруг оборвал этот нечеловечий голос, прикрыл дверь и, откашлявшись, воротился обратно. – Похоже? – спросил он и сам же себе ответил: – Похоже. Знай, что это я, когда услышишь. А волков я тут давно распугал, все, наверно, на ваш берег сбежали. Ишь какую забаву нашел. От безделья, думаешь? Нет, Настена, не от безделья – от другого. От веселой жизни. Что ж ты последнюю надежду от меня отымаешь, что я хошь для какого-то надобья сюда шел? Что

не совсем зря я принял на себя позор? Показала, дразнула и отымаешь. Мне ж теперь тошней того будет. А роди ты, я себя оправдаю, для меня это последний шанс. Что я говорю: шанс, это все для меня, вся моя служба в жизни. И пускай люди не знают, зато кровь моя знать будет, что он мой. Нас потом только кровь и помнит.

– Да ведь его, может, еще и нет, – слабо возразила Настена. – Я сказала, что еще не точно. Надо подождать.

– На нет и суда нет. А есть – оставь, не губи. Спаси мою душу. Я хошь завтра же сгину и ничем тебя больше не потревожу, и ты во всем другом поступай как знаешь...

– Мне совсем не надо, чтоб ты сгинул! Что ты говоришь?!

– Четыре года мы прожили вместе. Плохо ли, хорошо ли, но вместе. Да четыре года война. Тоже одной веревочкой были связаны, хошь и за тыщи верст. Неужели все вхолостую, все зря, и ничего от нашей жизни совсем не останется? Ты будешь дальше жить, ты еще молодая, красивая, но этих-то годов все равно не воротишь. Они прошли. Как бы твоя жизнь потом ни сложилась, да ведь и я в этой жизни тоже был. Куда меня денешь? Сколько баб осталось за войну с целой оравой, а ты одного не хочешь принять. Что бы ты делала, если б он раньше, еще до войны, появился?

– Я разве не хочу, Андрей?! Я разве не хочу?! Я хочу. Что ты на меня наговариваешь? Зачем ты так?

– Ты не отказалась от меня, когда увидала, что я пришел с войны не тем ходом. Не выгнала, не выдала, пособила выжить – без тебя я, наверно, пропал бы. Знала, какую тяжесть на себя берешь, и все ж таки взяла, не побоялась. Кто мог подумать, что теперь, когда у нас уж не семья... какая семья?., так, две половинки от семьи, что теперь-то мне и выпадет один-единственный раз в жизни сделать свое мужицкое дело. Для того, что не совсем же зря я жил. Что говорить?! У тебя была только одна сторона: люди. Там, по правую руку Ангары. А сейчас две: люди и я. Свести их нельзя: надо, чтоб Ангара пересохла. Конечно, мне легко говорить, мне пузо не таскать. Я здесь, в упряжке, отсижусь до своего часа.

– Перестань, Андрей! Хватит, не надо так.

Запал из него вышел, Андрей опустил на нары и лег на спину, сдерживая заходящееся дыхание. Но он не досказал и, помолчав немного, подталкиваемый оставшейся болью, заговорил снова, уже спокойней и легче, зная, что главное сказано.

– Пересудов людских ты боишься... Что они тебе? Люди – как собаки: кто где не так пошевелился – они в шум. Полаяли и перестали – и опять ждут, кто бы себя чем выдал. Конечно, на тебя напустятся – не без этого. Помогут языки, постараются. О хлебе забудут, дай им только твое пузо послать. Ну и пускай славят, пускай чесотку свою чешут, это ж у людей чесотка, зуд, обязательно надо кому-нибудь косточки перебирать. Они без этого не могут. А ты знай помалкивай, делай свое дело и не дразни их – скорей уймутся. А потом и до кого другого очередь дойдет, и ты уж вместе с людьми окажешься. В первый раз так, что ли? За то же самое, за что они костерили, они тебя потом похваливать начнут. Люди... Да доведись такое до них, неизвестно, кто себя как бы повел. Не людей – себя слушай. Ты знаешь, как было. Что ни перед кем ты не виноватая. Что и со стороны отца он тоже твой родной ребенок. Этим себя охраняй, этим спасайся, этим. Конечно, не сладко тебе придется. А сейчас-то, сладко разве?

– Я не жалуюсь.

– Что жаловаться – так видно.

Они не заметили, как затихла хлябающая в окне стеклина, как в зимовейке сначала посветлело, а потом стали настаиваться спокойные сумерки. Ветер пронесло, и только отбившиеся от него, закружившие где-то порывы изредка бестолково налетали и опадали то у одной, то у другой стены. Печка протопилась и почернела. Переламывая разговор, Андрей поднялся, перекрыл заслонкой трубу, чтоб не выносило тепло, и заглянул в окошко. Даже со стороны горы нахлестало порядочную, чуть не до стекла, завалину снега, мокрый снег налип на стволах деревьев, в низком затухающем небе все еще гнало клочья разодранных, дымных туч.

Настена, повернув голову, следила за Андреем. Он воротился и опять прилег к ней. Ничего не изменилось, но это необязательное вставание означало для обоих, что больше того, что сказано, говорить сейчас не следует. Действительно, надо подождать. Чтоб не получилось, как у той причитающей бабы: ах, если бы у меня был ребенок, да если бы он занемог... То, что нужно, Андрей сказал, Настена выслушала – и достаточно. Надо потерпеть – на днях все выяснится окончательно.

Настена облегченно вздохнула и осторожно, для себя одной, потянулась, разгоняя по телу набрякшие комки. У нее всегда так: чуть растревожится, разбередится – кажется, к самой коже подступают изнутри чувствительные, болезненные наплывы, в которых отдается малейшее страдание и которые исчезают затем не скоро и не легко. Она все еще сторожилась, боялась, как бы он ненароком, забывшись, не сломал их молчаливую и оттого слабую, ничем не скрепленную договоренность.

Он пошевелился, и она замерла.

– Давно уж, с третьегоднешнего лета, помню я про тебя один сон, неожиданно начал он и помедлил, дождался, пока она поспеет к этому повороту разговора. – Все там осталось на месте – и где мы стояли, и люди, которые со мной вместе воевали – с чем вокруг себя лег спать, то и увидел во сне. И вот будто лежу, а от березок – там недалеко березки стояли – идет ко мне девчонка. Совсем вроде незнакомая. Идет в обтрепанном платьишке, заморенная, босиком – ничего твоего нету, а я почему-то знаю, что это ты.

– Это я и была, – удивленно согласилась Настена. – До тебя еще, когда ты меня не знал. И волосы как у мальчишки подстриженные?

– И волосы подстриженные, – я.

– Но как же? Раз я тебя такой не видывал – как ты мне в точном обличье явилась?

– Не знаю. Может, рассказывала. Но это я была, я.

– Да я и толкую, что знал почему-то, что ты. Подходит и говорит: «Чего это ты здесь застрял? Я там с ребятами замучилась, а тебе и горя мало». «Какие, – спрашиваю, – у тебя ребяташки? Откуда они у тебя взялись? Что ты собираешь? Иди обратно и проверь, есть они у тебя или нет?» Она пошла.

– И ушла?

– Вроде послушалась, ушла. И опять стоит. И опять, как в первый раз, с той же придурью: я, мол, там с ними замучилась... Я ей посуевой отвечаю: «Иди и не приставай больше ко мне – нет у тебя никаких ребяташек». Она вроде поймет, задумается так, назад повернет. И сон-то какой-то просветный: будто я и во сне тоже хочу уснуть. И не успеваю. Глаза закрою и сквозь них вижу: обратно ко мне от тех же березок идет. И одно по одному, одно по одному. Извела она меня в ту ночь.

У Настены вдруг что-то заскреблось в памяти, заскреблось, приподымаясь, и, еще не понимая, что заставляет ее спрашивать об этом, она быстро, спохватно спросила:

– А в конце? Что ты сказал ей в конце? В последний раз?

– Не помню. То же самое, наверно, и сказал. А что я мог сказать?

– Мог бы пожалеть, не перечить, – вмиг осевшим, пустым голосом ответила она.

– Зачем?

– Ни за чем. Сколько ведь просила. – Настена внимательно всматривалась во что-то перед собой и, словно по увиденному, говорила: – У вас там еще пушки стояли. А в низинке, откуда я к тебе подымалась, стояли машины. Большие такие, зеленые. Ты спал на потнике, а укрывался поверх шинели брезентом. Ты с краю лежал, а рядом лежало то ли трое, то ли четверо твоих товарищей. Я подходила как раз с твоего края...

Он приподнялся на локте и уставился на нее:

– Откуда ты знаешь?

– Я тоже видела этот сон. Со своей только стороны. Надо же так?! Настена удивленно замерла и прислушалась, не подскажет ли что в ней, можно или нельзя об этом говорить вслух. Обоюдный сон – такого она, сколько жила, не знала. Обоюдный – стало быть, не простой, вещий. Его и разгадывать не надо, он весь на виду. Готовая в любой момент

умолкнуть, она начала осторожно вспоминать: – А меня бабка одна надоумила. Какая бабка – хоть убей, потеряла из памяти. Иди, говорит, к нему и скажи о ребятишках. Если признает, согласится – так тому и быть, откажется – останетесь при своих интересах. Я пошла. Ты ни в какую. Я уйду и опять ворочаюсь, и опять ворочаюсь, а ты никак в толк не возьмешь: нет и нет. Я хочу намекнуть и не могу. Ты сердисься на меня, гонишь. А вот как было в последний раз, не помню. Помню, что пошла уж в своем, а не в девчоночьем виде, чтоб на тебя подействовать. Приходила я к тебе такая?

– Приходила.

– И что ты мне сказал?

– Не знаю. Не помню.

– Что-то ведь должен был сказать?

– Наверно, должен.

– Ишь как! Самого главного-то и не узнали. – Настена не удержалась, укорила. – Что тебе стоило согласиться или на худой конец промолчать? Теперь бы все по-другому было.

– Не хватало еще верить во всякие сны, – неуверенно возразил он.

– Сон-то, сам видишь, какой. На две стороны. В одну ночь, поди, и приснился обоим. Может, то душа моя к тебе навевывалась. Оттого все так и сходится. – Все еще надеясь на что-то, Настена продолжала допытываться: – И ни разу, ни разу ты меня после того с ребятенком не видел? Вспомни хорошенько.

– Нет, ни разу.

– Забылось, может? Перебило чем похлеще... войной этой. Она все под собой топит.

– Нет, это я бы, наверно, не забыл. Помню же вот, как ты приходила. Два года помню.

– А конец все равно потерял? Как его теперь угадать?

– Конца, наверно, никакого и не было. Судьба его нарочно нам оставила. Чтоб не во сне, а в жизни показать. Показать, а там – хошь имайся, хошь не имайся. Как хошь.

– Что-то много ты стал о судьбе говорить. Раньше я вроде не замечала, чтобы ты ее когда-нибудь поминал.

– Заговоришь... – Он усмехнулся, закивал себе. – Ты тоже: нашла чем попрекать. Заговоришь, когда вот она, рядом, в ногах примостилась. И ни на шаг от тебя. Обуздала как миленького. Что хочет, то и делает.

– У меня и в мыслях не было тебя попрекать. Само сказалось. Но в ноги, куда кивнул Андрей, Настена взглянула.

– А теперь она еще и тебя в упряжку ко мне подстегнула, – не то припугнул, не то пожалел Андрей. – Посмотрю я на тебя, как ты от нее вывернешься.

– Зачем мне выворачиваться? Я с тобой. Если уж что, так вместе.

11

И все же легче стало Настене. Свободней на душе. Тяжесть не снялась нет, она нагрузла еще больше, нечего было и думать, чтобы избавиться от нее, но она прояснилась – как если бы, заблудившись, выбившись из сил, Настена вдруг разобралась, куда она попала, отыскав себя в девятой дали, гораздо дальше, чем надеялась, зато зная теперь, как отсюда выбираться. Другое дело – достанет ли сил, чтобы выбраться, пройти через все, что уготовано, но куда идти, какой стороны держаться, ей открылось.

Для Настены это значило не трепыхаться, смириться с тем, что есть, и не перечить судьбе. Что будет, то пускай и будет. Она еще не прибилась окончательно к этому решению, но уже понимала, что никуда ей от него не деться. Видно, придется испить свою горькую чашу до дна. Отступать поздно. Да она и не хотела отступать, для Настены это было все равно что отказаться от самой себя, и Андрею она взялась возражать для того лишь, чтобы в его словах найти для себя поддержку. Где ее больше искать? Она подала ему надежду, за которую он не мог не ухватиться, для него это теперь все равно что воздух. Что он станет говорить, нетрудно было догадаться заранее.

Значит, как катился колобок, так пускай и катится, пока не остановят. Какую только, интересно, она станет петь песенку? Где был метен-скребен, от чего ушел, к чему пришел?

Но это потом, потом... успеется, споеется.

А прояснило, и смуть отошла с души: семь бед – один ответ. Слишком далеко Настена зашла, слишком многого нужно бояться, а потому лучше не бояться ничего и идти напрямик. Судьбой ли, повыше ли чем, но Настене казалось, что она замечена, выделена из людей – иначе на нее не пало бы сразу столько всего. Для этого надо быть на виду. Конечно, сейчас ей приходится нелегко, но разве лучше было коптить, как она коптила, небо и топтать одну и ту же, короткую, никуда не ведущую, ни в чем не обнадеживающую дорожку? Без милости ее, наверно, не оставят и, когда понадобится, помогут, а там еще, глядишь, и вознесут за страдания – даром ничего не дается. Она потерпит, вынесет все, что придется на ее долю, но коптить небо плюновой, ни на что не пригодной бабой она не согласна – тогда уж лучше и не жить.

С малых лет Настена, как и всякий живой человек, мечтала о счастье для себя, наделяя его своим, с годами меняющимся представлением. Пока ходила в девках, и счастье ее тоже гуляло легко и свободно, в любой момент оно могло нагряться отовсюду, все четыре стороны для него была распахнута. Так и грезилось: она стоит посредине, а оно, заигрывая, подлетает то слева, то справа, дразнит, щекочет мимолетным ласковым касаньем, зовет за собой и до поры, оставив обещание, отлетает. Так его было много, столько в нем чудилось красивой, непознанной радости, столько любви и удовольствия, что не терпелось тут же окунуться в него и купаться, купаться, тратя его напропалую каждый день и каждый час, чтобы не оставить после себя сиротой. И в то же время из какого-то приятного, сладостного ожидания хотелось оттянуть миг полной с ним встречи, потому что встреча эта все равно казалась неминуемой. Настена и замуж пошла не задумываясь, что из всех дорог она теперь оставляет для счастья лишь одну – ту, которую выбрала сама, но пока еще широкую и просторную, где есть место, чтобы разминуться добру и худу. Семейная жизнь виделась ей по-хозяйски надежной, но и работной, а в отношениях с мужем веселой и легкой: так и будни короче, и праздники красивей. Конечно, она могла иногда от чего-нибудь скомкаться или споткнуться, без сучка и задоринки ничего не бывает, но затем обязательно выправиться и продолжаться в любви и согласии дальше; причем любви и заботы Настена с самого начала мечтала отдавать больше, чем принимать, – на то она и женщина, чтобы смягчать и сглаживать совместную жизнь, на то и дана ей эта удивительная сила, которая тем удивительней, нежней и богаче, чем чаще ею пользуются. Настена верила, что и с ней так же будет, и в одном только этом она, пожалуй, не ошиблась. А счастье... счастье, показавшись, помаячив, обнадежив в первое время, отступило затем без ребятишек куда-то вперед – там и предстояло его встретить, но теперь дорожка, на которой они могли сойтись, стала вдвое уже прежней и превратилась скорее в тропинку, хотя проглядывалась все еще ясно.

Настена никогда не оглядывалась назад, не жалела о сделанном, не спохватывалась, что где-то когда-то надо было повернуть не сюда, а туда. Жизнь – не одежда, ее по десять раз не примеряют. Что есть – все твое, и отрешиваться ни от чего, пускай и самого плохого, не годится. С Андреем Настене выпадали тяжелые дни, но даже и в мыслях она не переиначивала свою судьбу; поправлять наперед поправляла, но по-готовому не перекраивала и рядом с собой другого мужика не представляла. Тогда и из себя надо делать другого человека – кто ей позволит? Пускай другие как хотят, а она проживет начатой жизнью и метаться из стороны в сторону не станет. Она дождетя своего, а не чужого счастья.

На всех его, говорят, не хватает – кому повезет, кому нет. Но она-то на белом свете только одна, ничем ее заменить нельзя – почему именно ей обходиться без него? Кто это сделал такое распределение? Для чего, в таком случае, ей дали жизнь, если того, ради чего она родилась, на нее же может и не достать? Вся ее жизнь в ней, в ее сердце, душе, теле, остальное пусть и близко, рядом, но в сторонке, остальное благодаря ей только и существует, так почему же предназначенное для нее как нарочно должно пройти мимо и попасть к

кому-то другому? Нет, так с человеком нельзя. Добро бы ей жить потом во второй, в третий раз, чтобы наверстать упущенное, – да не жить, не наверстать. Все свое бери с собой, не оставляй про запас – не пригодится.

Война надолго задержала Настенино счастье, но Настена и в войну верила, что оно будет. Вот настанет мир, придет Андрей, и все, что за эти годы остановилось, снова тронется с места. Иначе Настена и не представляла свою жизнь. Но Андрей пришел раньше времени, прежде победы и все перепутал, перемешал, сбил со своего порядка – об этом Настена не могла догадываться. Теперь приходилось думать не о счастье – о другом. А оно, напугавшись, отодвинулось куда-то, затмилось – ни пути ему, казалось, оттуда, ни надежды.

Дальше – больше.

Неужели впрямь так до конца без него? Никогда еще Настена не попадала в столь страшное положение. И никакого просвета впереди, сплошь темень. Действительно, дальше – больше, сегодня плохо, завтра лучше не будет. Но ведь «больше», то, на чем оно сейчас остановилось – это ребенок, о котором она страдала, которого хотела изо всех сил. Он и представлялся ей желанным счастьем. Не значит ли это, что она совсем рядом со своим счастьем, только с другой, противоположной стороны, как если бы она зашла ему со спины? Или это оно зашло ей со спины? Какая разница? Лишь бы встретиться, не разминуться.

Но что, что ей сейчас от этого счастья?

Нет, что-то должно произойти и выправить ей жизнь, иначе недолго и рехнуться. Уже произошло: зачался ребенок. Ее заметили, ей не дадут пропасть. Если будет ребенок – что еще ей надо?! А он будет, будет, он подвигается, идет.

Теперь она знала, что делать. Ничего не делать. Пустить, как оно есть, по ходу. Где-то там, близко ли, далеко ли, должно ждать ее тоже настрадавшееся, оттого что порознь, не вместе, ее собственное, законное счастье.

Вот она лежит, а колобок тем временем катится все дальше и дальше.

Они лежали и говорили о чем придется, точно обкладывая то самое главное, хрупкое и ломкое, что было сказано, мягкими оберегающими пустяками. Когда лежишь, легче вести такой разговор: можно, закрыв глаза, сказать то, что в лицо говорить не решишься, можно без стеснения помолчать, можно взять и, затаившись, остаться одному, а затем опять сойтись вместе.

Стемнело, а огня не добывали, в окошко от павшего снега и без луны стелился пустынный холодный свет. Лица Андрея и Настены казались в нем бескровными, фигуры – неживыми, тряпичными, движения – вызванными посторонней силой. Голоса тоже словно доносились откуда-то исчужа. И сами себе Андрей и Настена виделись в этот укромный час не настоящими, чужими настолько покаянно и тихо, смиряя все вокруг, с полным прощением перед прощанием, отходил этот крутой, горячий день. И они в лад его смирению говорили тихо, почти шепотом. Разговор ни за что особенно не цеплялся и был ненатужным, легким, покачиваясь, как маятник, который мог в одной стороне задержаться больше, в другой меньше, мог, где хотел, остановиться и снова задвигаться туда и сюда. Но после одной такой остановки Андрей ни с того ни с сего вдруг спросил:

– Чего бы ты от меня, Настена, хотела?

– Как – чего бы хотела? – не поняла она.

– Я вот знаю, что от тебя хочу. И ты это знаешь. Мы уж сегодня говорили, и начинать все сначала я не собираюсь. Но мне еще и, кроме того, много чего от тебя надо. Ты и хлебушком снабжаешь, и одежкой. Все, что здесь имеется, все через твои руки прошло. Мне уж совестно с тебя тянуть, только тянуть да тянуть, и ничего, ни одной крошки взамен. Кой-какая совесть еще, видать, сохранилась. Я ж на полном твоём иждивении, а иждивенец-то ишь какой: он за десятерых потянет. Что там за десятерых – больше! Ты из-за него теперь людей должна бояться. Я-то боюсь, мне есть за что, – а тебе? Тебе-то из-за чего с белым светом расходиться? Я знаю: ты пожалела меня. И тут, о чем мы сегодня толковали, тоже пожалеешь. Такая уж ты есть. Вот увидишь, ничего не станешь делать. Я тебя не подначиваю – нет, я тебя знаю. Ты бы и хотела, да не сможешь. Не сможешь, Настена, вот

попомни мои слова. Я на тебя все взваливаю, взваливаю, а сам, что ни возьми, в сторонке, ты одна обязана колотиться. Правильно ты говорила. А что я могу? Что я могу, Настена? Подумай сама. Я бы рад тебе пособить, да как? Мне же охота пособить, я не привык на готовенькое, я бы, кажись, в лепешку разбился, чтоб сделать что-то, но скажи тогда, что надо?

– Что надо? Ничего не надо.

– Вот видишь, ничего не надо, – с готовностью подхватил он, словно другого ответа и не ожидал. – Ишь как: мне надо, а тебе – нет. Вот до чего я докатился: никакой пользы от меня не приходится ждать. Я и сам это знал, да надеялся еще на что-то. А ну, думаю, вдруг что попросит? Нет. Хоть какую ерунду-чепуху? Тоже нет. Выходит, от меня теперь один только вред, одно мучение со мной – больше ничего. Ясное дело, я человек пропащий, для всех пропащий – я на это и шел, да вдруг, думаю, не для тебя? Вдруг, думаю, ты мне милостыньку подашь; найдешь хошь маломальское для меня место? – Несмотря на боль, которая была из него и его обжигала, он говорил неторопливо и спокойно; казалось, ему доставляет удовольствие издеваться над собой и терпеть эту боль. – Ты меня, выходит, только жалеешь. Для меня и это, конечно, сейчас спасенье, да на жалости все одно долго не продержишься тонкая она сильно веревочка, того и гляди лопнет.

– Ты что, Андрей?! Ты что?! – испуганно перебила его Настена. – Я думала, ты так просто спросил, так просто и сказала тебе, а он вон куда повернул. Разве ж так можно? Ты почему такой-то? Ни с того ни с сего взял и погнал в свою сторону и меня с санок скинул. Ты уж меня-то не скидывай, не надо. Еще глядишь, пригожусь. Я, если хочешь, хоть сейчас тыщу дел для тебя найду.

– Каких, к примеру?

– Для начала хоть не говорить так. Мне и вправду скоро нелегко придется, а если еще и ты не будешь верить, что мне тогда останется?

– Без меня, ясное дело, было бы лучше.

– А что? Конечно, лучше, – согласилась она. – А еще лучше мне было бы без себя. Ничего не знать, не видеть, не слышать, ничем не болеть, не страдать – ой, как хорошо, как спокойно! А куда я себя, интересно, дену, если я – вот она? Зачем ты мне говоришь, как было бы без тебя? Я знать этого не хочу. Ты уж меня от себя не отделяй, не надо. – Настена подхватила сорвавшееся дыхание и продолжала: – Давай вместе. Раз ты там виноват, то и я с тобой виноватая. Вместе будем отвечать. Если бы не я – этого, может, и не случилось бы. И ты на себя одного вину не бери. Я с тобой была – неужели ты не видел? Где ты, там и я. А ты здесь был со мной. Нам и сны одни снились зря, что ли? Ой, Андрей, не зря. Хочешь ты или не хочешь, а мы везде были вместе, по одной половине здесь, по одной там. Ты что, считаешь: если б ты пришел героем, я бы была ни при чем? Что мне и порадоваться с тобой не разрешилось бы? Ну да! Я бы себя получше твоего героем почитала, мой мужик, не чей-нибудь. Я бы козырем по деревне вышагивала: глядите, бабы, завидуйте – вот она я, вот как я отличилась!

– Ты бы уж не поминала такое, не сравнивала...

– А что? Почему нельзя? Тебе выпало другое – плохо, значит, я тебя остерегала. Или не верил ты мне, раз не выдержал, или не хватило на тебя моей заботы, или что еще. Ты от моей вины не отказывайся, я ее все равно вижу. А если вот: скажем, если бы я тебя не дождалась, выскочила за другого, все бросила и уехала с ним неизвестно куда – ты бы одну меня виноватой считал?

– А кого еще?

– Нет, и ты бы здесь был замешан. Как же без тебя? Это ты бы помог на такое пойти. Может, еще задолго до того, может, и сами забыли, когда решились, но вместе решились, одна бы я не посмела. Господи, о чем я говорю! Я-то бы никогда и не посмела, я к тому, что незачем нам делить: тебе одно, мне другое. Мы с тобой сходились на совместную жизнь. Когда все хорошо, легко быть вместе: это как сон, знай дыши, да и только. Надо быть вместе, когда плохо – вот для чего люди сходятся. Я не могла родить – ты меня не выгнал. Ты

согласился на меня, какая я есть, не кинулся искать, что получше. А кто, интересно, мне позволит сейчас от тебя отъединиться? Я бы потом извела, исколесовала себя...

– Плохое плохому рознь, Настена. Я преступник, против меня сам закон. Зачем еще и тебе заодно со мной быть преступницей?

– Теперь поздно спрашивать. Надо было думать раньше, когда ты на это пошел. А пошел – значит, и меня за собой повел. По-другому я не умею. Ты сам говорил: мы одной веревочкой связаны. Так оно и есть. Только верь мне, верь, а то нам обоим придется плохо, мы сами себя измотаем. – Настена умолкла, ожидая, чем ответит Андрей, но он замешкался, и она, подумав, добавила: – Я бы, может, хотела себе другую судьбу, но другая у других, а эта моя. И я о ней не пожалею. Она моя. – Настена снова умолкла и снова добавила: – Все еще обойдется, Андрей. Не может не обойтись. Вот увидишь.

Он так ничего и не ответил.

– А мне и сейчас хорошо. Ты же помнишь: мне много не надо. Я с тобой и хорошо, все остальное где-то далеко-далеко. Не помню, что было, и не вижу, что будет. И даже как бы не верю, что будет еще что-то. Кажется, так и останется навеки: ты да я, да мы с тобой. Только я бы заставила тебя бороду сбрить, ты с ней какой-то чужой. Не могу привыкнуть, и все, хоть ты что делай.

Чуть приподнявшись, Настена обернулась к нему, и он, не видя ее, по одному только изменившемуся дыханию почувствовал, что она улыбается. До этих пор они лежали неподвижно, с одинаково, повернутыми вверх, в потолок, лицами, словно и не обращая друг к другу, словно говоря лишь для себя. Андрей от начала и до конца говорил с закрытыми глазами – так действительно было легче. Но сейчас, отвечая на улыбку Настены, он открыл их, встретился с ее внимательным, податливым взглядом и не выдержал его, отвел глаза.

– Почему мы раньше ни разу вот так не поговорили? – сказал он и в подтверждение себе со спокойной и безнадежной обидой покачал головой. – Все ведь могло повернуться иначе, другим боком. Или это только кажется, что могло, – черт его поймет! Но не говорили же – ясное дело, нет. Только переговаривались, кому что надо, по пустякам, каждый день по пустякам. За четыре-то года было время поговорить, поглубже спросить друг друга, кто что думает. Я ж тебя, выходит, как следует и не знал. В лицо разве что. Есть – и ладно, а что есть, что имею, не знал. Надо же: руку на тебя поднимал.

– Ты на меня руку не поднимал.

– Не поднимал?

– Нет.

– Не хочешь, значит, зло помнить. Ну, нет так нет. Хотя для меня, наверно, было бы легче, если бы помнила. Куда я с тобой с такой? Сильно много буду должен, а расплачиваться, сама видишь, нечем. Эх, Настена, Настена! Тебе бы не меня, а кого другого. Ты не думай: я это всерьез. Ты же вон какая! И как тебя угораздило со мной столкнуться – не пойму.

– А мне другого не надо, мне с тобой хорошо. Я уж и говорила. И ты за меня не решай.

– Ну, еще бы не хорошо...

– Ничего-то ты, Андрей, не понимаешь, – досадливым и обиженным, простанывающим шепотом сказала Настена и опустила опять голову на свою подостланную в изголовье жакетку. – Где ж ты, интересно, был, что не знаешь, хорошо мне было или нет? – Он не ответил, догадавшись, что ей и не нужен ответ. – Когда ты меня сюда привез, я ни одного человека тут не знала, все чужое, все. Я, можно сказать, с закрытыми глазами за тобой пошла: куда приведешь – там и ладно; Я и тебя-то почти не знала, что это – два или три раза играючи встретились и так же играючи, чуть ли не в шутку, договорились. Я до последнего и не верила, что ты приедешь. Ну, не страшно ли было? Вся жизнь заново, ничего от той жизни не осталось, только я одна, да и то уж не пойму, я ли, не я ли. Помнишь, поди: сошли мы с парохода, я глаз боюсь поднять, на ровном месте спотыкаюсь. Помнишь? Так и было: на яр влезли, у меня нога за ногу заплелась, я упала. Люди засмеялись, а мне тошней того, земли

под собой не вижу. Ты понял, что мне страшно, взял меня за руку и повел. Приходим домой; ты говоришь: вот она, моя жена. Отец спрашивает: как зовут? Настя, говорю. Он перекроил: Настена. С той поры и пошло – Настена да Настена. А мать смотрит и молчит. Я вижу, что не сильно поглянулась ей, что она, может, другую невестку ждала. И ты заметил. Заметил и говоришь: она здесь одна – это про меня, – заступаться за нее некому, давайте не будем ее обижать. Шуточнo вроде сказал, со смешком, а на самом-то деле какая же шутка? Вот тогда я и поверила, что нет, не зашибусь за тобой, хоть оно и кинулась сломя голову неизвестно куда, что мне с тобой будет хорошо.

В тот же самый вечер ты повел меня к людям. Помнишь? Заходили к Вите Березкину, к Максиму Вологжину, к другим. Я забыла тебе сказать: Максим воротился на днях. С рукой – сильно, говорит, покалечена, по сю пору на перевязке. – Андрей, затаившись, ничем не отозвался на эту новость, и Настена продолжала: – Ты не мной ходил хвалиться, а чтоб я людей сразу узнала, чтоб не быть мне середь них чужой. И правда, утром Надьку Витину встречаю и глаза вылупила: откуда, думаю, взялась тут моя знакомая? Ведь знаю же человека, знаю, а откуда, кто – не найду. А потом: господи, да ведь не дале как вчера познакомились, ты приводил, а у меня без ума-то все в голове перемешалось. И так ей обрадовалась – будто родной. А ночевали мы, помню, в амбаре. Ты так захотел – ну, там и постелили. Мне поначалу чудно показалось, но амбар был чистый, опрятный – тот, маленький, крайний ко двору. Только без окошка темно-темно. И так же вот нары – куда они потом делись, эти нары, кто их снял? Да ты же, однако, и снял. Правильно, ты: сусек там понадобилось делать. А жалко: такие были аккуратные нары. Темно как под землей, а пахнет деревом, стружками, там отец до того столярничал, что ли. И от тебя тоже пахнет стружками – как сейчас помню. Ты спрашиваешь: не страшно? Нет, говорю, с тобой не страшно. А тут петух за стенкой на насесте будто подслушал и захотел проверить – как закричит дурноматом! Я как вскинусь! – Настена засмеялась: негромко, ласково-бережно пролился ее смех и затих. Она легко вздохнула. – А утром я едва дверь нашарила. Не могу найти, в какой она стороне, да и только. Ты до обеда валялся и про жену свою молодую забыл. Я сходила на Ангару, посмотрела огороды – и тот, и другой. За стол без тебя не сажусь, жду. Мать не вытерпела, подняла тебя. Все вместе, помню, пили чай с калачиками – отец, мать, ты, я. Ты еще втихомолку приставал ко мне, дурачился, будто меня всю ночь где-то не было. Попили – ты говоришь: собирайся. Куда? На кудыкину, говоришь, гору. И правда, потащил меня в гору, на елань, показал поля, пустоши – все кругом показал, рассказал, до самого вечера ходили. А воротились – сидят твои дружки: выставляй, говорят, тарасун, раз женился. И Витя опять там был, и Максим Вологжин. Витю убили – знаешь, поди? Знаешь, я писала. А что у Надьки уж без него девчонка родилась – не помню, писала, нет ли. Теперь их у нее трое, мается она, ой, мается. А куда денешься?

Настена скосила глаза влево, где лежал Андрей, – он был как каменный, не показывая себя даже дыханием, и она, спохватившись, пожалела, что упомянула о Вите. С Витей они были товарищи. Но торопиться перебивать этот разговор чем-нибудь другим Настена не хотела. Она и не смогла бы, наверное, это сделать. Воспоминание все еще стояло перед ней в свою полную живую силу, радостно и тревожно подрагивая перед глазами, умоляя не оставлять его, продолжать дальше. То, на чем остановилась Настена, наплывало совсем близко, словно пытаясь подхватить ее к себе, наполнить собой и направить вперед. Так действительно хорошо там было, так счастливо и отрадно, сколько там было обещано! И все-таки Настена уняла это воспоминание: достаточно. Наполняясь уже новым видением и новым настроением, она, улыбаясь, спросила:

– А помнишь, как я приезжала к тебе в район, когда ты учился на курсах?

На вторую зиму, как сошлись они, Андрея послали от колхоза на курсы счетоводов. У него было шесть классов, все-таки грамота, поэтому его отговорили от трактористов, куда он было нацелился, и направили в счетоводы. Тоже уважаемая, заметная работа, хотя и не такая, как на тракторе, зато постоянно дома, на одном месте, а свяжись с МТС, месяцами будешь пропадать на чужих полях да в чужих людях. Это и остановило Андрея, когда пришлось

выбирать.

На Новый год он приезжал и прожил дома до рождества, а в феврале снарядилась к нему Настена. Ехать до райцентра надо было семьдесят верст, с ночевкой по дороге. Собрались в одной кошевке Иннокентий Иванович, Василиса Премудрая, которой приспичило зачем-то в больницу, и Настена. Иннокентий Иванович с Настеной, коротая дорогу, бормотали о чем придется. Иннокентий Иванович любил поговорить, а у Василисы Премудрой слово – что золото, зря не выронит. Ко второму вечеру добрались, договорились справить дела за день и разошлись в разные стороны. У Настены и дел-то было – Андрея повидать, а на это хоть сколько дней заказывай, все равно мало.

Андрей квартировал в подслеповатой избенке на берегу речки, недалеко от устья в Ангару. Старуха-хозяйка не обрадовалась Настене, а еще больше не обрадовался ей товарищ Андрея по комнате, пожилой уже, угрюмый мужик с корявым оспяным лицом и в очках с разными – одно много темней другого, похожими на шоры, стеклами. Он как лежал на кровати с книжкой, так и не поднялся, не сказал ни одного привечающего слова. Андрей посутился, посутился и повел Настену ночевать в Дом колхозника.

Еще раньше, надумывая ехать, заимела Настена маленькую надежду, в которую она и сама, боясь вспугнуть ее, заглядывала только тайком. А уж Андрею ее она бы ни за что не выдала. Ей возомнилось, что если она не умеет забеременеть дома, то, быть может, удастся это сделать здесь. Дома они привыкли, притерпелись друг к другу, а здесь все будет внове, и это вполне может; сказаться.

Не зря говорят, что самые скорые, самые цепкие дети – подзаборные, они только того и ждут, чтоб о них забыли, и тогда-то вот они: привет от папы! А у Настены все было бы по чести, по любви, с одной лишь поправкой: далеко от дома и, значит, от неудачи. Она не верила, что от этой ее надуми что-нибудь получится, но чем больше не верила, тем больше подталкивала себя к ней и ждала проверить.

– Помнишь, утром ты не пошел на свою учебу, прибежал за мной, и мы с тобой отправились в чайную – тут же, через дорогу. Там еще стоял на столе прямо огромный самовар, я такого никогда больше и не видывала. А в кранике он прохудился и бежал, и сильно бежал, под него специально глубокую тарелку подставляли. Чего уж они не могли его запаять, не знаю. И вот она, тетка, что чай разливала, в стакан тебе из той тарелки – р-раз! Ты заметил. «Нет, говоришь, – давайте из самовара». Она заспорила: мол, это и так из самовара. «Нет, это накапало, – ты говоришь, – это уж не чай, а ополоски». – «Никакие не ополоски». – «Ополоски». Она все ж таки уступила, дала из самовара. Помню, ты еще купил мне конфеток в бумажках, и я вприкуску их с чаем хрумкала заместо сахара. Медовые, что ли, были конфетки: запашистые, протяжные – съешь, а вкус-то долго держится, не пропадает.

Словно вызывая в себе ту незабытую приятную сладость, Настена причмокнула языком и облизнула губы.

– Ну вот, попили, поели мы, и опять к тебе – где ты квартировал. Турсука твоего, который в разномастных очках, нет, а старуха дома. Ей на счетовода не учиться – сидит, зырит на нас, что мы станем делать. Вредная старуха: видит, что мы ждем, чтоб она ушла, и нарочно не идет. Тогда ты придумал, как отослать ее: дал денег, чтоб она сходила в магазин за четушкой. А она, ты потом сказывал, любила сама их брать и никому эту работу не доверяла. Старуха наша засобиралась. «Вот за четушкой, – говорит, – так и быть, сбегаяю, а больше никуда бы с места не стронулась». – «Бегом-то, – ты ей говоришь, – не беги, успеешь». – «Я-то, – она говорит, – успею, а вот ты, касатик, все-таки крючок на дверь накинь, чтоб мне по-культурному в свой дом прийти».

Настена засмеялась – тепло, притаенно, не вздрагивая телом, будто маленькое аккуратное колесо прошлось по воде и удалилось.

– А потом мы с тобой весь день ходили, ходили – где только не побывали, – опустив опять до шепота голос и растягивая слова, продолжала она. – Ты от меня никуда, и даже радый был, что вместе, я же видела, что радый. А уж я-то, я-то до чего была радая! Зимой, в

мороз, прямо вся грелась от радости. Иду и слышу, как изнутри лицо горит, как руки дрожат. Я ведь поначалу боялась, что спросишь: зачем приехала? И правда, зачем? На словах разве объяснишь? У меня и заделья никакого к тебе не было – приехала, и все тут. Нагрянула – куда тебе с добром! И пошла гулять-разгуливать, мужика от учебы отрывать. Кино смотрели! – вдруг воскликнула, почти выкрикнула она. Помнишь? Кино смотрели! Ишь что из памяти чуть было не выскочило. Совсем закоулочная какая-то сделалась память: главное не держит. Я на другой день, как обратно поехали, стала в санях кино пересказывать – так даже Василиса Премудрая разговорилась. А сидели мы с тобой на самом заднем ряду под окошечком, откуда киношный свет идет. Под конец ты ко мне привалился и шепчешь: «Может, не поедешь завтра, может, еще на денек останешься?» Я головой мотаю, а слезы так и катятся, так и катятся: сам позвал остаться, сам. Сердце выскочить хочет...

А дальше, дальше-то помнишь, Андрей? Дальше-то – умора. До того, как проводить меня в этот Дом колхозника, зашли сызнова к тебе. Знаем, что старуха теперь добрее. Пришли – она говорит: «Давай еще, касатик, на четушку, да и оставайтесь здесь, в моей кухоньке, а я, – говорит, – у подружки своей заночую, мы с ней возле четушечки вместе погреемся». Ты дал отчего не уважить старуху? Она пропала, а вскорости, мы еще подумать не успели, чтоб ложиться, она обратно. «Магазин, – говорит, – закрыли, а без магазина к подружке идти незачем». Ты тогда сам побежал, где-то раздобыл спровадил старуху. А потом оказалось, что и турсук твой надутый тоже не пришел, где-то пристал на стороне. И мы с тобой всю-то ноченьку одни барствовали. Ох, Андре-е-ей! А ты говоришь: хорошо ли мне было с тобой? Что же ты говоришь?! Господи! Сам подумай. Что мне еще надо?

Но Андрей уже не слышал и не понимал ее. Следя поначалу за воспоминаниями Настены, он испытывал сладкую и щемящую боль, все сильнее и сильнее подступающую к сердцу, – боль оттого, что все это действительно когда-то было, он тоже помнил все это, но как-то сухо, смутно, бедно и торопливо, словно это было и не с ним, а с кем-то до него, с кем-то, кто отдал ему свою память. Что теперь делать с ней, он не знал. Она, живая и пытливая, ничего, кроме страданий, доставить ему не могла: с его собственной памятью она не уживалась. Они отказывались понимать друг друга; в одной посудине они умудрялись занимать совсем разные места, не мешаясь и не переступая установленную границу. Но его собственная память была злей и сильнее, она, когда хотела, брала верх.

Так случилось и на этот раз. Настена с тихим волнением говорила, он, не отвечая, слушал, то поспевая за ней, то не поспевая, задерживаясь на своих подробностях; он хоть и шел вслед за Настеной по проложенной, проторенной дорожке, а все равно часто и мучительно спотыкался, оглядываясь и боясь, куда она его заведет. И когда настигло его собственное воспоминание, он не удивился – так и должно было случиться, он словно поджидал его, надеясь скорей отмучиться, испытать, что положено, и снова вернуться к Настене.

Оно, воспоминание это, началось ни с чего, с какой-то тонюсенькой паутинки, которую он неосторожно перекинул вперед и которой оказалось достаточно, чтобы перед Андреем возникла, а потом и навалилась другая картина. Она стояла ближе к сегодняшнему дню – сил, чтобы отказаться от нее, у Андрея не было. Это последнее, относящееся к войне воспоминание, всегда являлось неожиданно и властно держало долго, безжалостно, до содрогания, до ужаса четко высвечивая каждую подробность, – множество раз уже Андрей Гуськов вынужден был переживать одно и то же, одно и то же. В сущности, с того, что произошло тогда, и перевернулась его жизнь: он попал сначала в госпиталь, а затем прямой дорожкой сюда.

...Теплым летним вечером, отстрелявшись в артподготовке с закрытой огневой позиции, собирались переезжать на новое место. Связь с наблюдателями давно свернули, справа батарея уже снялась, слева еще копошились. Особенно не подгоняли. С гаубицы, в расчете которой воевал Андрей, успели все же снять прицел, свести и замкнуть станины и теперь возились с чехлами. Сзади, из-за горбатого, тронутого редким леском увала, взывали один за другим моторы тягачей, две машины, болтая расхлябанными кузовами, уже ползли к

орудиям.

Моторы тягачей и приглушили, видимо, гул танков. Настолько внимание людей было расслаблено сборами и переездом, настолько притупилось у них чувство опасности, что, быть может, и слыша, выделяя густой чужой рокот, они не обратили на него внимания. И когда на гору впереди выкатились немецкие танки и, только на мгновение притормозив, справившись с минутной растерянностью, покатались вниз, – это было как наваждение. Откуда? Впереди свои! Откуда? На одной и другой батареях послышались крики, заматывались расчеты, срывая чехлы, разводя станины, опуская и разворачивая стволы орудий. Андрей (он был заряжающий) бросился к снарядному ящику, когда его оглушило и кинуло на землю, – падая, он словно бы и с закрытыми глазами видел, как медленно плывет, прокручиваясь, приподымаясь вверх и снова опускаясь, колесо соседней гаубицы. Осознав, что жив, Андрей прыгнул вперед и подхватил ящик.

Танков было пять. Но один с левой, первой по номеру батареи успели подбить, он горел. А вторая, где был Андрей, не сделала еще ни одного выстрела. Что-то надсадно и хрипло кричал командир, но что делать, ясно было и без команд. Танки сползли с горы и разделились: две машины двинулись на первую батарею, две на вторую, причем они хитро выходили на линию между батареями, чтобы артиллеристы били друг по другу. Но раздумывать об этом было некогда.

Один только выстрел и успела сделать первая, основная в батарее, гаубица, которую заряжал Андрей Гуськов.

Потом рядом с ним хрястнуло с мгновенным дребезжащим звоном, и он, как казалось ему, кувыряясь, полетел в сторону.

Откуда-то издали издали звучал голос Настены, звучал протяжно и ласково и знобил Андрея своей интонацией. Слов он не различал: в его ушах стоял грохот этой недолгой и страшной схватки железа с железом, где люди вроде были и ни к чему, в глазах короткими повторяющимися вспышками мелькали картины боя, наносило смрадом, возникали в одном горячем клубке крики, полоса черной, пропоротой незакрепленными сошниками земли, тягачи, торопливо уходящие обратно в укрытие, наводчик орудия по фамилии Коротько, который, приподняв голову, заглядывал в свой развороченный осколком живот, вскинутый взрывом в воздух чехол ствола – и все это под нарастающий, увеличенный страхом лязг гусениц.

И вдруг голос Настены исчез. Еще не очнувшись, не вернувшись из своего последнего боя, Андрей осторожно обернулся и увидел в глазах Настены совсем другое – в ее глазах было тепло от ее собственного воспоминания. Не выдерживая больше, Андрей ткнулся головой в ее грудь и застонал.

– Андрей, что ты?! Что ты?! Что с тобой?! – испугалась она.

Он чуть было не всхлипнул, но удержался.

– Ничего. Ничего, Настена. Ты здесь, ты со мной. Но он все еще боялся, что только что привидевшийся ему бой и есть настоящее, и продолжал озираться.

– Что ты подумал? – Настена стала руками ласкать его голову, но говорила о своем. – Дурачок ты, больше никто. Выдумал что-то. Это, может, тебе со мной плохо, а про меня не говори. Мне всегда с тобой хорошо, всегда – так и знай. Я и подумать не смею, чтобы я без тебя жила. Как это – без тебя? И все эти годы, покуда я тебя ждала, я же тебя ждала, не кого-нибудь. Я ни разу спать не ложилась, покуда с тобой не поговорю, и утром не вставала раньше, чем до тебя не дотянусь, не узнаю, что с тобой. Мне и вправду казалось, что я вижу тебя, сначала нет никого, только шум, вроде как ветер свистит, потом все тише, тише – значит, до тебя уж недалеко, а потом вот он ты. Всегда почему-то один. Сидишь или стоишь во всем солдатском, печальный такой, печальный, и никого возле тебя нету. Я взгляну, что живой, и обратно: задерживаться или там разговаривать нельзя. И дальше перемогаюсь, и дальше день ото дня. Я, может, даже чересчур тебя ждала, свободы тебе там не давала, мешала воевать. Откуда я знала, что можно, чего нельзя, – делала, как могла, да и все, никто не научил, не подсказал. И ты молчал. Ох, Андрей, Андрей... Он обхватил руками голову и,

быстро двигая ею из стороны в сторону, словно пытаюсь сорвать непосильную тяжесть, простонал:

– Господи, что я наделал?! Что я наделал, Настена?! – И, убрав руки, повернул лицо к Настене. – Не ходи больше ко мне, не ходи – слышишь? И я уйду. Совсем уйду. Так нельзя. Хватит. Хватит самому мучиться и тебя мучить. Не могу.

Настена растерянно замерла.

– Нет уж, – остановила она. – Ты уйдешь, а я? Что со мной будет – ты подумал? Куда я со своей виной? На люди ее не понесешь. Давай уж вместе. Погодим, Андрей, погодим, не торопись. Может, все обойдется, должно обойтись. Моя мать давно еще говорила: нет такой вины, которую нельзя простить. Не люди они, что ли? Кончится война – посмотрим. Или можно будет выйти покаяться, или еще что. Только потерпи, не уходи. Один ты пропадешь. И я пропаду – сначала-то я пропаду. Тут я хоть буду знать, где ты. А если, правда, ребенок? Ты же один только знаешь, что это твой ребенок – не чей-нибудь. С кем мне еще поговорить, душу облегчить... я ж теперь от людей чужая. Скажи, не уйдешь?

Не отвечая, он не сразу, но помотал головой.

– И правильно, правильно, не надо. – Она вздохнула и, чуть помолчав, обернулась к окну. – Темно-о-темно. Я уж и забыла, что надо идти. Вставай, Андрей, пойдем, ты говорил, что проводишь. Пойдем – все больше вместе побудем. И ничего не выдумывай. Ты не один. Если б был один, тогда бы и делал, как знал.

В темноте не видно было, как по щекам ее текут слезы.

12

Через три дня после этой встречи, как только нанесенный ветром снег согнало до старой корки, Андрей Гуськов собрался в Атамановку. Его давно уже подмывало походить возле деревни, но он все удерживался, боясь какой-нибудь случайностью или неосторожностью выдать себя, а теперь, после разговора с Настенной, после того, что он узнал от нее, сдерживаться больше стало невозможно. Удивительное дело: он теперь и чувствовал себя гораздо уверенней, словно получил вдруг какие-то особые права на свое присутствие здесь и мог меньше бояться, меньше считаться с подстерегавшей его опасностью. К тому же потеплело, весна разогналась вовсю, и это тоже как нельзя для него было кстати, а чуть промедли, погоди он, и станет поздно.

На исходе ясной и звездной, уже смеркающейся ночи перебрался Гуськов через Ангару, обогнул с нижнего края деревню и поднялся в гору. С этой стороны свою Атамановку он, как вернулся, не видел, и она показалась ему еще меньше, чем была. Он смотрел на низкие, будто и не стоящие, а лежащие вдоль улицы избы – с присевшими и разномастными (где со ставнями, где без ставен), похожими в эту пору на заплатки, окнами, с чуть не достающими до земли крышами, с растянутыми на стороны неуклюжими заборами и едва узнавал их. Гуськов наизусть помнил, где чья постройка, и все же, вглядываясь в них сейчас, чуть не перед каждой терялся: вроде та и не та – по месту, конечно, та, а по виду не понять. Или это оттого, что еще не рассвело как следует, и воздух был мерклый, мутный, или впрямь так постарела за войну деревня без мужичьих рук?

Он долго пропускал свою избу и нарочно не смотрел на нее, чтобы до того хоть немножко привыкнуть к деревне и почувствовать ее близость, поверить, что она видится ему не по воспоминаниям, а наяву. Но чувство это не торопилось: за те годы, что он здесь был, а особенно за те месяцы, когда, находясь рядом, он приказывал себе не знать Атамановки, он во многом успел и разнять с ней. Ничего не поделаешь: деревне оставаться здесь, ему бродить где-то там. Вместе им не жить, ему не бывать даже в ней похоронену значит, нечего понапрасну и томиться, надирать душу, исходить бесполезной тоской. Порой, наткаясь взглядом на виднеющийся из-за Ангары край Атамановки, Гуськов как бы лениво и неряшливо, с какой-то даже издевкой к себе принимался вспоминать: что ему там надо было? Что-то ведь когда-то надо было, а что именно – забыл.

Изба, где он родился и вырос и где жили его самые родные на свете люди, стояла как раз напротив, в нижнем порядке улицы. Наконец, приготовившись, напрягшись вниманием, Гуськов перевел на нее глаза: те же самые три окна, обращенные в нагорную сторону, на него, тот же покосившийся левый передний угол (отец говорил: изба в хозяина – хроменькая), те же добротные, как пристрой, бревенчатые просторные сени, на односкатной крыше которых навалено всякое хламье. Изба была крепкой, не знающей веку, но в свое время недосмотрели и дали осесть углу, как раз в то лето, когда начаться войне, и собирались после покоса собрать мужиков на «помочь», чтобы одним махом, не копаясь, подвести оклад и выправить угол. «Собрали, выправили!» А теперь старику, конечно, и думать об этом заказано. Так и будет кособениться изба, пока не завалится совсем или не дождетя доброго хозяина. А что? Отцу с матерью долго не продержаться, а Настена... Настена едва ли здесь останется, а если и останется, то не одна. Гуськов изо всей мочи всматривался в окна, словно надеялся увидеть сквозь них то, что делается внутри. Правое крайнее окно – в куть, сразу за окном курятник, напротив – русская печь, на которой днюет и ночует в последнее время мать. Печь еще не растопили – дыма нет. Но вот-вот поднимутся; мать окликнет Настену, та возьмется за лучину. Настенино окно-крайнее слева, у покосившегося угла. Сейчас ее последние минуты во сне, она лежит на спине с вытянутыми ногами, обхватив руками живот – эта привычка, если правда, что Настена понесла, ей теперь пригодится. Вот как, оказывается, задолго, за многие годы наперед готовится человек к тому, что в нем быть: Настена еще до войны без всякой ясной причины, словно бы только из блажи, приучилась обнимать свой живот – и вымолила, выласкала. Сегодня Андрей точно узнает, не лопнула, не пролилась ли его надежда, сегодня Настена подаст ему знак. Если ничего не изменилось, она растопит вечером баню. Но Настене неизвестно, что он здесь, поблизости, и ждать его ночью в бане она не станет, он сказал только, что выйдет на Ангару.

Представив, как Настена лежит сейчас в постели – обмершая, распростертая и теплая, собрав на животе рубашку, с чуть подпухшим и побледневшим за ночь, слегка подрагивающим, словно сияющим что-то вспомнить, лицом и распушенными волосами, – представив себе сейчас Настену в ее последнем утреннем сне, Гуськов замер, и какой-то маленький тоненький пузырек, лопнув, простонал в его горле. Вздохнув, Гуськов перевел взгляд на амбары, стоящие слева одним рядом, – того крайнего ко двору, о котором говорила Настена, вспоминая о первой их ночи, отсюда было не видно. Но, вспоминая об этом, Настена сказала не все, – она не сказала, что петух, всполошивший ее, показался ей тогда дурным предзнаменованием, от которого она долго не хотела отказываться. «Дурное и дурное», – повторяла она, а он, Андрей, пытался успокаивать: «Слушай ты петухов, верь им побольше, они тут каждую минуту орут».

Утро наконец полностью высвободилось, посветлело, и деревня приподнялась с земли, подступила ближе. Из труб поползли дымы, послышались слабые, еще полусонные, неясные звуки. Поднялась и Настена: окно, что напротив печки, занялось прерывистым алым мерцанием. Мелькнул, открываясь, угол двери, кто-то вышел, но забор мешал видеть – кто: Настена или отец? Настене пора идти к корове, но отец, наверное, еще до дойки задает скотине корм, а может, и это теперь легло на Настену – кто их там знает! А вдруг мать, взбредившись каким-то беспокойным чутьем, из последних сил выбралась на улицу и стоит, ждет, что ее позвало сюда и что и куда подвинет дальше? Неужели мать совсем, ну совсем ни капельки не чувствует, что он здесь, рядом?

Он стоял, смотрел, припоминал, но все как-то легко, без волнения и боли – или они еще не проснулись, не расшевелились, или он успел их погубить. Он и сам начинал удивляться своему спокойствию: впервые за четыре года стоит перед родной деревней, и стоит, понимая, что ему, быть может, больше не доведется так стоять, и хоть бы хны. Там изболелся, исстрадался, готов был что угодно отдать, чтобы пусть разок напоследок, пусть одним глазком взглянуть на свою Атамановку, ради этого, можно сказать, и шел сюда – и вот пришел, а душа пустая. Неужели правда все выгорело дотла?

Чтобы проверить себя, он перевел взгляд на избу Вити Березкина, своего товарища и

одногодка, который остался под Москвой. Знакомая изба – тоже вон пустила дымок, в ней теперь Надька с ребятишками. Андрей помогал Вите перевозиться сюда с верхнего края, когда Витя отделился от матери. А что было особенно перевозить? Запрягли коня, сбросали на телегу два или три узла, кровать да деревянный топчан – вот и все хозяйство. Лавки, стол сколотили уж здесь, инструмент брал из дому Андрей. Что-то смастерили не по Надьке, она разворчалась – тогда ее вдвоем, как Надька ни верещала, как ни отбивалась, затолкали на крышу и, посмеиваясь, слушали ее рев оттуда на всю матушку-деревню. За то, чтоб снять, требовали бутылку и добились: обещала. Ничего другого Надьке не оставалось – прыгать она боялась, а лестницы не было.

И вспоминалось тоже легко, легко и живо – потому и всплыло поперед всех именно это воспоминание. Но Андрея насторожило, как близко и точно представился ему сейчас Витя: лицо, голос, походка, жесты – все. Словно только что стоял рядом и отошел на одну минутку. «Интересно, – подумал Гуськов, – его нет, а я вижу и слышу его как живого. Кто тут постарался Витя или моя память? Видит ли кто-нибудь так же хорошо, скажем, меня? Я есть, я должен лучше видеться людям, живой – живым! Нет, тут дело, наверно, в другом, – остановил он себя. – Витя исполнился, дошел до конца, все знают, что с ним случилось. А что с тобой – никому не известно. Люди уже сейчас избегают тебя вспоминать, у тебя нет пристанища, откуда могут пойти воспоминания, ты и живой для них стерся и растаял, как прошлогодний снег. А потом: память о человеке, которая идет к людям, наверняка знает себе цену, поэтому память о тебе вечно будет стыдиться и прятаться, как прячешься сейчас ты. Не надейся, ни на что не надейся – тебе и тут ничего не светит».

Он и размышлял спокойно, пропуская мимо сердца то, о чем думал. Нет так нет. Когда он умрет, ему все равно будет, что станут говорить о нем люди. Там от этого кости не болят, там все в одинаковом положении. Внимание Гуськова по-прежнему было занято своим домом, с которого он старался не спускать глаз. И отца он увидел сразу. Ему показалось даже, что он слышал, как скрипнула калитка. Отец прикрыл ее за собой и, задержавшись, внимательно посмотрел в гору, где стоял Андрей, будто догадываясь, что он там стоит, затем своей обычной прихрамывающей походкой пошел по улице вправо, пуская не то парок от дыхания, не то дым от курева – издали не разобрать. «Вот он мой отец, – с какой-то стылой, неповоротливой мыслью замер Андрей. – Это он». Он глядел в спину отца, в спину, которую тот все еще прямил, отказываясь сгибаться по-стариковски, и чувство растерянности и пустоты все больше и больше охватывало Андрея. На полдороге отец остановился и согнулся, переломился в пояснице, дергаясь головой, – он, видно, кашлял. И опять Андрею почудилось, что он слышит этот кашель, что тяжкие, надсадные звуки достают до него. Направившись, отец захромал дальше и через минуту исчез за углом избы-читальни.

Андрей постоял еще, бессмысленно глядя перед собой в землю, и вдруг сразу, как спохватившись, быстро, чуть не бегом, кинулся в гору, потом, когда деревня скрылась, повернул вправо и все тем же скорым, торопящимся шагом пошел через лес, пока не наткнулся на дорогу. По ней он опять спустился вниз, возле густого молодого ельника, который огибала дорога, оставил ее и двинулся напрямик. И только по выходе из ельника, когда стали открываться постройки, он придержался – перед ним лежал конный двор, верхняя изгородь которого подступала вплотную к лесу. Здесь Андрей должен был увидеть отца ближе.

У них с отцом не существовало каких-то особых отношений – ни плохих, ни хороших, каждый, можно сказать, жил сам по себе. В детстве, правда, отец приглядывал за ним, но только приглядывал, почти не вмешиваясь в его занятия и заботы. Сыт, обут, одет – справлен во всем, что требуется от родителя, – и достаточно, а к жизни пусть приучается самостоятельно, на то он дал ему голову и руки. Он не поучал сына и не воспитывал, да он и не знал, что такое воспитание, с чем его едят; жизнь, считал он, любого обрабатывает и воспитывает, сделает из него то, на что он годится. Надо было – одергивал, нет – оставлял в покое. Если Андрей спрашивал что – объяснял, причем объяснял обстоятельно, толково, радуясь, что сын интересуется, а он может показать и рассказать; если видел, что тот тянется к чему-то

полезному, – потакал, подмечал, что умеет, но насильно никогда не подталкивал, не имел такой манеры. Сам, пусть до всего доходит сам – крепче выйдет учение. Лишь однажды, сколько Андрей помнил, отец помог ему разобраться, что хорошо и что плохо: когда, напакостив, Андрей свалил вину на соседского Мишку, отец снял с крюка ременные вожжи и молча поучил – лишь однажды.

Поэтому с отцом было легко. Он не ласкал, но и не кричал, не ярился, как мать, у которой часто случались неожиданные перепады в настроении: сегодня она одна, завтра – совсем другая. К отцу Андрей в любой момент мог идти смело, а к матери прежде присматривался: какая там нынче погода? Мать была из низовских, из-под Братска, где цокают и шипят: «крыночка с молочком на полошке», «лешу у наш много, жимой морож». На Ангаре всего несколько деревень с таким выговором и с красивым, как на подбор, рослым и работающим народом, особенно женщинами – откуда тут взялась эта порода, никто не знает. Выше и ниже этих деревень говорят нормально, а тут почему-то иначе не могут, словно у них как-то по-своему, по-особому подцеплен язык. Для постороннего уха он, конечно, кажется непонятным, диким, к нему надо привыкнуть. Над матерью в Атамановке до старости подсмеивались, передразнивая, а она злилась и не умела скрыть свою злость, а потому сторонилась людей, старалась оставаться одна. Но матери и кроме того было чем подпалить свое сердце: гражданская война начисто искоренила всю ее родню: отца, мать, трех братьев – всех. Младший брат, когда-то служивший у Колчака, чтобы спастись от партизан, прибежал к сестре в Атамановку, но его достали и здесь. Это было, похоже, самое первое, изначальное, смутное и обрывистое воспоминание Андрея, которому тогда исполнилось лет пять, – воспоминание о том, как чужие бородатые люди увели, вытащив из подполья, дядю. Мать потом всю жизнь корила отца за то, что он не вступился за ее брата. Отец отмалчивался: сам он, вернувшись с германской покалеченным, умудрился больше ни под чьим ружьем не ходить. В колхозе с первого дня, как вступил, он пошел на конный.

Коней он любил. Андрей не знал больше никого, кто бы так жалел и уважал эту скотину, как его отец. Он, может, потому и попросился на конный, что не доверял чужому догляду, когда повел со своего двора на общественный три, если считать с жеребенком, лошадиные головы. Чуть дело касалось коней, отец, обычно спокойный, даже вялый, никому не спускал. Однажды, еще в первое колхозное время, он на глазах у мужиков отодрал чересседельником Нестора, теперешнего председателя, когда тот пригнал откуда-то всего в мыле, с разорванными в кровь губами, запаленного жеребца по кличке Гром, – отодрал как миленького, и никто не посмел его остановить. Причем и жеребец-то до колхоза был Нестерова старшего брата Ульяна, убитого впоследствии в финскую войну; потому, может, Нестор и гонял его, как хотел, что считал жеребца своим, но отец не посмотрел ни на что. Он сердился на людей, которые брезговали есть конину, доказывал, что из всех животных эта – самая чистая, однако сам он ее тоже не ел: не мог. Из любви к коню, из сострадания к нему, пусть даже и мертвому, не мог. Он говорил: «Умирать стану, а коня и человека в рот не возьму». Под Сталинградом, спасаясь от голода кониной, Андрей часто вспоминал эти слова и пришел к выводу, что в его положении отцу не доводилось бывать, иначе он поостерегся бы так высказываться. Там однажды случилось им рубить на мясо и варить издохшего коня – и тому были рады, да еще лезли за ним под пули.

Затаившись в ельнике, Андрей ждал, когда покажется из хомутарки отец. Посреди двора на старом месте стояли на подставках два длинных, долбленных из цельного дерева корыта, рядом с ними с задранной, по-пушечному нацеленной на Ангару бочкой торчала водовозка. Вдоль левой изгороди выстроились в ряд с поднятыми и подвязанными оглоблями летние одры и ходки, заваленные березовыми заготовками и гнущем, справа за конюшнями начинался загон, там шевелились конские спины. Ничего тут за эти годы не изменилось, может быть, только постарело. Двор от сенной трухи и шивяков был грязно-рыжий, мягкий, от него, перебивая придых мороза, уже с раннего утра несло густым, настоящим запахом оживающей прели и вони; Андрей втягивал его и, отвыкнув, задышался, но задышался с удовольствием, с хмельным, веселым желанием угореть.

Во дворе одиноко бродил красивый, с одинаковыми подпалинами на боках вороной стригунок – сильный, ухоженный, с легкими крепкими ногами, с лоснящейся от черноты спиной, с подстриженной гривой и челкой. Залюбовавшись им, Андрей решил, что стригунка, наверно, не станут портить, оставят на развод – уж больно заглядистый был подросток. Но и любопытный: сумел как-то учуять Андрея и, подойдя к изгороди напротив и просунув между жердями голову, уставился на него долгим изучающим взглядом. Андрей пугнул его стригунок отскочил, оглянулся на конюшню – здесь ли, и снова перевел глаза на чужого, подозрительного человека. Так потом и не забывал: покопается в трухе – и посмотрит, покопается и посмотрит.

Андрей находился в каком-то блуждающем, неразборчивом до растерянности, до провалов в памяти состоянии, то не мог понять, почему он прячется в лесу, когда нужно сделать всего несколько шагов, перемахнуть через прясло и выйти на свет, взять и выйти – чего он ждет? То, спохватившись, что выходить ни в коем случае нельзя, не мог, наоборот, взять в толк, откуда взялся перед ним этот знакомый по прежней, прожитой и закопченной жизни уголок, если он, Андрей, давно состоит в другом мире. Откуда? Примерещился, наворожился? Зачем? Кому это надо? Что между ними общего? Как он сюда попал?

Андрей пропустил, когда вышел из хомутарки отец, и вдруг увидел его с кобылой в поводу: отец выводил ее из конюшни. Кобыла была жеребая, на последних днях, бока ее раздулись, живот прогнулся, ступала она тяжело и осторожно. Внимание Андрея прежде обратилось именно на кобылу, она его поразила больше всего. Он и сам не сумел бы объяснить почему: или давно не видывал жеребых и забыл, как они выглядят, забыл даже, что они могут быть на свете, или обрадовался удачной возможности не смотреть сразу на отца во все глаза, а, держа его вполвида, привыкнуть и лучше подготовиться к встрече. Отец вывел кобылу и, остановившись, обошел вокруг нее, решая, наверно, надо ли ее прогуливать, потом снова взял в повод, и они тронулись дальше. Вдоль нижней изгороди они дошли до угла и повернули в гору – туда, где стоял Андрей... Он всполошился, заметался, не зная, оставаться на месте или отступить в глубь ельника, и в конце концов остался, понадеявшись, что ветки прикрывают его хорошо, но на всякий случай присел.

Провожая его на фронт, отец при последнем прощании дрогнул, сорвавшись, спросил кого-то: «А суждено ли нам увидеться-то, суждено ли?» Он представлял себе только два пути: или увидеть им когда-нибудь друг друга, или не увидеть. А то, что один из них может увидеть второго, а второй первого нет, ему и в голову бы не взбрело – слишком простая для этого голова. А так, именно так оно сейчас и происходило. Отец приближался; он был в фуфайке, перехваченной ремнем, в ватной самошитой шапке с подвернутыми наверх ушами и в ичихах. Шел он медленно и устало; усталость замечалась в бессильно опущенных руках, в натужном, пристегивающемся, когда одна нога только подставляется к другой, шаге, в сильно оседающем при хромоте теле – больше всего он сейчас походил на подранка, который, не выдерживая погони, двигается лишь по инерции. Теперь Андрей не сводил с него глаз. Отец приближался, и чем ближе он подходил, тем больше, забывая об осторожности, приподнимался, распрямлялся Андрей и, поднимаясь, словно обмирал, цепенел внутри, плохо видя и соображая. Чуть не дойдя до прясла, отец закашлялся и остановился. Кобыла сзади смотрела на него умными, понимающими глазами. Он кашлял долго, с хриплым надрывом, держась руками за грудь и отворачивая лицо в сторону, потом, успокоившись, поднял голову и посмотрел прямо перед собой на Андрея. Между ними едва было двадцать шагов. Андрей обмер. Задержи отец свой взгляд, он бы, наверно, не выдержал и вышел, но отец опустил глаза и потянул повод. Взгляд, направленный на Андрея, ослепил его, он не запомнил отцова лица, не заметил, как оно изменилось, он видел только, что это оно, отцово лицо с обвисшими седыми усами, и все; уж после, глядя в спину уходящему отцу, ему показалось, что в нем проснулось какое-то особенное, способное ухватить любую мелочь, внимание. Но оно опоздало. Отец через боковые ворота завел кобылу в конюшню и исчез, спустя пять минут Андрей еще раз мельком увидел его с большим навильником соломы. Затем кто-то окликнул отца. Андрей сообразил, что ему пора

уходить.

13

Он выбрался на дорогу и, не прячась и не торопясь, пошел по ней вверх. Куда – он не представлял, просто двигался подальше от людей, подальше от того, что ему привелось сейчас пережить. Но он и не жалел, что побежал на конный, он не мог догадываться, что то, ради чего он побежал, тоже пойдет ему навстречу. Кто знает, не потому ли и побежал, не потому ли вообще переходил сегодня Ангару, что надеялся: а вдруг случится, вдруг невзначай сойдется так, как сошлось? Ясное дело, он рисковал, зато его душа, которую он чуть было не испек, не надорвал, теперь еще больше закалилась – ей пригодится.

Да что там! Он видел отца, родного отца, когда-нибудь это ему зачтется. Ему легче будет дальше жить: один долг он отдал. Он обязан был увидеть отца, существует же что-то такое, что передаст перед смертью отцу, что сегодняшним утром сын стоял перед ним, испрашивая прощения, – обязано что-то такое существовать. И отец простит. Как он его не заметил? Смотрел ведь прямо в глаза. А может, заметил, да не захотел признать и сделал вид, что смотрит в пустоту. Нет, не заметил. Иначе бы спросил. «Он-то бы спросил, а что бы ты-то сказал? Что бы ты после этого делал, куда пошел? Под свой груз лучше никого не пристегивать, вези один. Настена вон помогает, и от этого тяжесть вдвое больше. Надо, видно, теперь и Настену потихоньку освобождать. Одному, только одному. Без Настены? Врешь – без Настены тебе жизни нет. Настена тебе дышать дает, и, может быть, далеко-далеко вперед, даже после твоей смерти».

Он не заметил, как взошло солнце; на подъеме, где лес просекой разошелся по сторонам, оно ударило прямо в глаза, заставив Гуськова зажмуриться, и все вокруг сразу пришло в движение – пока слабое, осторожное, но разгонистое. День обещал быть богатым и звонким, небо стояло открытое, чистое, воздух от солнца помяк, ледок по дороге начал запотевать. В лесу лежал еще снег, но он всюду проседал, источаясь, из него торчала, как выросла за эти дни, прошлогодняя трава, виднелись проталины. Деревья, еще не пробудившись окончательно, уж распрямлялись, отогревались, потяжно пошевеливались от собственных токов. Горчило: воздух за ночь не успел поднять в вышину вчерашнего натая. Солнечные лучи стелились как бы вдоль земли, не доставая до нее, но наклонялись все ниже и ниже.

Гуськову следовало поторопиться, чтобы скорее уйти от деревни, но торопиться ему не хотелось, и он двигался вялым, потерянным шагом. Встреча с отцом не прошла бесследно: Андрея охватило безразличие. Куда, зачем он идет, что здесь ищет? Сидел бы лучше на своей стороне, сидел бы на своей стороне и не рыпался. Там он стал успокаиваться, привыкать к своему положению, а идти сюда с самого начала значило то же, что посыпать раны солью. Но нет, ему это надо, надо – потом будет легче. Нельзя по-настоящему почувствовать себя зверем, пока не увидишь, что существуют домашние животные, нельзя продолжать новую жизнь, не подобрав пуповину от старой, а она, пуповина эта, как ни скрывал он ее, болталась и мешала. Ему надо было прийти сюда, чтобы наяву, вблизи убедиться, что никогда больше не бывать ему в родном доме, не говорить с отцом и матерью, не пахать этих полей, – и он пришел, полагаясь на старинное правило: клин клином вышибают. Теперь раз и навсегда он поймет, что сюда ему ходу нет. Он перестрадает наконец страданием, которое долго оттягивал, но которого так или иначе было не миновать.

Встреча с отцом, казалось, затаилась в нем и ждала лишь удобного момента, чтобы всколыхнуться и приняться за него с новой силой; он чувствовал, что отдал ей мало себя. Сейчас она стояла перед ним как сон, легко проскользнувший в память, но не улегшийся там, а словно бы вставший торчмя, мешающий теперь и идти и думать. Он то и дело возвращался к ней, то замирая опять от удивления, что так близко видел отца, то вздрагивая запоздалым страхом, что отец мог его заметить, но возвращался осторожно, мельком, боясь расшевелить встречу и пережить ее с гораздо большим страданием. Сегодня это ни к чему: он на чужой

стороне. На чужой? Усмехнувшись, Гуськов согласился с собой: да, на чужой – здесь надо держать ухо остро, здесь нельзя поддаваться слабости, слишком дорого она может обойтись.

Почему-то ему вспомнилась немая Таня, у которой он прятался в Иркутске, вспомнилась без всякого случая, просто всплыло перед глазами ее лицо с шевелящимися, что-то спрашивающими губами, и Гуськову вдруг захотелось очутиться опять у Тани. Взять бы ее с собой и умотать куда-нибудь на край света, где нет людей, разучиться там говорить, а в отместку в свое удовольствие измываться над Таней, а потом жалеть ее и снова измываться она все стерпит и будет счастлива самой малостью. Забавные все-таки у немых лица: улыбаются, а глаза холодные, безучастные, губы шевелятся, а все остальное неподвижно и напряженно.

Он-то, конечно, недостоин и Тани, но этот грех он бы на свою душу принял. Таня и без того обижена, а потому можно обижать ее дальше. «А доведись – зачем бы тебе ее обижать?» – спросил он себя. Затем, что вина требует вины, пропащая душа ищет пропасти поглубже. Он бы, наверно, не сумел иначе, ему постоянно нужны были бы подтверждения, доказательства, что он превратился именно в то, что есть. Так он чувствовал бы себя уверенней.

Гуськов вышел в поля и повернул вправо, на дальние елани, ему предстояло провести там весь день. В эту пору людям там делать нечего: назем туда и в добрые-то годы не возили, а теперь, да еще по этой развезени, и подавно. Какие-нибудь беспокойные ноги тоже едва ли забредут: то, что нужно от леса, можно взять рядом с деревней. А если и забредут, ничего страшного пусть боятся его, а он сегодня бояться не намерен. Близко, чтобы могли узнать, он к себе не подпустит, а издали пусть сколько угодно смотрят и гадают, кто это, – ему наплевать. Он имеет право пройти тут хозяином, он работал на этих полях не меньше других, он наизусть помнит, сколько в каждом из них земли, где что до войны было сеяно и сколько собрано. И то, что они до сих пор не заросли и продолжают приносить хлеба, есть и его потяга – там, в прежние годы. Он здесь не чужой – нет. Здесь сейчас в воздухе стоит, что он нашелся и идет мимо, – поля натянулись и замерли, узнавая его, он теперь только такой памяти и доверял. Люди не умеют помнить друг о друге, их пронесит течением слишком быстро; людей должна помнить та земля, где они жили. А ей не дано знать, что с ним случилось, для нее он чистый человек.

Солнце поднималось все выше, припекая, и по дороге уж засочилось, засверкало, собрались первые, короткие течи. Снег по сторонам, посинев, набухал и тяжелел, тяжелел и воздух, постепенно пропитываясь сыростью. Гуськов шел в валенках (другой обуви у него не было, Настена в последнее свидание обещала разыскать его старые, заброшенные ичиги), и эти валенки больше всего сейчас досаждали Гуськову. Они, казалось, выдавали его, не позволяли прикинуться своим; их запоздалость, нелепость и непригодность словно разделяли его с землей, по которой он шагал. Идти в валенках уже и теперь было трудно, а как он станет передвигаться через три-четыре часа, когда день распалится вовсю, он не представлял. Придется, видно, где-нибудь отсиживаться; на последней елани у ручья стоит зимовье – можно там. Нет, сегодня он, пожалуй, прятаться в зимовье не захочет – надоело, не для того он сюда шел. Тогда уж лучше разуться и шлепать босиком, но шлепать, разнести свой дух везде, куда достанет, – больше, может быть, не доведется.

Подступали воспоминания, которые наносило отовсюду – с полей, с межей, от старой корявой лиственницы, торчащей посреди пашни, от ключика, бьющего из-под ели в узеньком перелеске, даже от неба, своим, как нигде, рисунком возносящегося из-за лесов, но Гуськов, боясь воспоминаний, отказывался, отряхивался от них, и они, начинаясь, обрывались, опадали куда-то вниз. Им только поддайся, потом не отвяжешься. Что ему сейчас от воспоминаний, зачем эта попытка, если ничего изменить нельзя? Жаль, что память этого не понимает. Вот ведь как: на двоих, совершенно чужих друг другу людей досталась одна память, и никак ее невозможно поделить. Если б получилось умертвить, начисто забыть то, чем он жил раньше, было бы намного легче, – да не получится: тот, прежний человек все

еще существует и будет, подавленный и подневольный, существовать долго – никуда от него не денешься. И не знать ему, Гуськову, покоя, не видать освобождения, мыкаться ему и мыкаться до конца своих дней.

Он поймал себя на мысли, что, соглашаясь с этим, убеждая себя в этом, он наперекор всему продолжает на что-то надеяться: маленькая молчаливая надежда жила в нем в такой тайне, что он и сам не всегда мог распознать ее, но жила, дышала, изредка он слышал ее опасливое, осторожное шевеленье. Но надеяться не на что, не на что совсем – никакое чудо не грянет. Похоже, впервые перед Гуськовым так близко встала вся голая правда его положения, без жалости и оговорок, – казалось, он почувствовал ее физически, словно она, пронзив, прошла сквозь него от начала и до конца; от холода ее он содрогнулся. Что ее вызвало, он не знал. Не раньше и не позже, именно сейчас, когда он поднялся в родные, прикипевшие к сердцу места, – уж не они ли приговорили? Гуськов покосился вокруг и, одернув себя, жестко, зло усмехнулся: жди, через минуту прилетит птичка и человеческим языком признается – они. Гуськов бодрился, но что-то в нем подготавливалось, нарастало, что-то непонятное и неприятное, шаг его сделался сбивчивым, хоть он и торопился и старался идти широко, дыхание тоже запрыгало и зачастило. «Птичка... подхватилась неожиданная мысль. – Я сам тут жил как птичка небесная. Что еще надо было? Что?»

После этого его сорвало со всех замков, со всех запоров и запретов и понесло. Остановить, успокоить себя он уже был не в силах.

«Если б не война, если б не она, проклятая, – оправдывался он, – так бы и жил я, так бы и работал. Какие мои годы: тридцать лет – полжизни еще не заступило. Полжизни не заступило, а уж все, конец. Да почему ж на меня-то? Столько народу в мире... Чем я провинился перед судьбой, что она так со мной, – чем? – Он застонал и стал искать, где присесть, ноги отказывали ему. Впереди валялся возле дороги грязный и мокрый чурбан, на него он и опустился. – Так бы и жил не хуже других, – хватался он за подвернувшуюся мысль, – работал бы, я ж хороший был работник – все знают. Шел бы сейчас тут по какой-нибудь надобности... вот так же и шел, вот так же сел и посидел бы, покурил, а потом управился с делом и обратно в деревню... – Настолько близкой, и вероятной почудилась ему эта возможность, что он, оцепенев и потеряв себя, потянулся искать, не так ли оно и обернулось в действительности, не пора ли ему справиться то, зачем он сюда пришел, и возвращаться в деревню. Нет, мир не перевернулся, все осталось на своих местах. Это было не пробуждение от сладкого сна, а одно из многих и многих, происходящих каждый день подтверждений его самого, того, что с ним случилось, но сейчас оно показалось ему особенно горьким и страшным, вся его с трудом налаженная оборона вмиг куда-то пропала, он был беззащитен; противная мягкая слабость охватила его, он не мог даже на себя прикрикнуть и почему-то был доволен этой слабостью, тем, что не в состоянии с ней справиться. – Это все война, все она, – снова принялся он оправдываться и заклинать. – Мало ей убитых, покалеченных, ей еще понадобились такие, как я. Откуда она свалилась на всех сразу! – страшная, страшная кара? И меня, меня туда же, в это пекло, и не на месяц, не на два – на годы. Где было взяться мочи, чтобы выносить ее дальше? Сколько мог, я дюжил, я ж не сразу, я принес свою пользу. Почему меня надо равнять с другими, с заклятыми, кто с вреда начал и вредом же кончил? Почему нам уготовано одинаковое наказание? Им даже легче, у них хоть душа не мается, а тут когда она еще свернется, станет бесчувственной... Вот вышел сюда, а она уж готовенькая, уж раскисла – слабая... Я ж не власовец какой-нибудь, что против своих двинулся, я от смерти отступил. Неужто не зачтется? От смерти отступил, – повторил он, обрадовавшись удачному слову, и вдруг восхитился: – Такая война – а я утекнул! Это ж уметь надо – черт возьми!»

И, подняв лицо, глядя куда-то поверх полей, которые миновал, он засмеялся – вызывающе и громко.

Он еще немало сидел, нашептывая вокруг все то же, и так же, поддаваясь моментами слабости, обмирая от казнящей боли, когда хотелось по-собачьи скулить, он, отмучившись, оправившись от нее, принимался издеваться над собой, разыгрывая каким-то отчаянным,

нездоровым, едким весельем, пока снова не накатывало и не окунало его в свою глуть.

Потом он решил, что вся эта пытка происходит от неподвижности, оттого, что он ничем не занят, и поднялся, а чурбан, на котором сидел, выкатил на дорогу – кому-то придется убирать. Оглядевшись вокруг, Гуськов двинулся дальше; на душе у него было стыло, муторно, но быстрый шаг и в самом деле не давал подхватиться мысли, она отставала.

Утро полностью разогрелось, потекли ручьи, пока еще безголосые и натужные; над полями с подгорной стороны заструился, волнуясь, воздух, лес за ним выбелило солнцем в одну клубящуюся полосу. Из деревни доносились праздничные, торжествующие крики выпущенных на волю петухов; колюче, занозисто каркала в полете ворона; путался, не направляясь, слабый земляной ветерок. Гуськову саднило лицо не от ветерка, а от солнца, ветерок же лишь натягивал и опять опускал воздух, принимаясь за него то с одного, то с другого конца. На гумне у зимовья галдели в мякине грязные, лохматые воробьи, два диких голубя, когда Гуськов подходил, снялись с кормежки и со свистом пронеслись мимо.

Гуськов остановился у гумна и стал наблюдать за воробьями – в Андреевском, далеко от людей, их не было. Он спросил себя, сколько лет живет воробей, прикидывая, нет ли в этой голодной суматошной стае птиц, которые летали здесь еще при нем. Но он не знал воробьиного веку, раньше такие пустяки его не занимали, и от этого к нему опять подступила досада... Вспугнув воробьев, он подошел к зимовью, с трудом оторвал приросшую за зиму дверь. В зимовье было холодно и пусто; Гуськов поискал, нельзя ли чем поживиться, и, ничего не найдя, вышел обратно. Его что-то томило, хотелось не то есть, не то спать – он не мог разобрать. Еды он с собой немного взял, но ее следовало приберечь на более поздний час. Почему-то он надеялся, что достанет здесь что-нибудь из съестного, хотя доставать было совершенно негде: не в деревню же идти просить, а помимо деревни в эту пору ничего не растет, не хранится.

Он долго топтался, не зная, за что приняться, затем, как бы пробуя, прикидывая, куда себя пристроить, завернул за зимовье, под солнце с горы, сел там на бревешко и прислонился к стене. Когда-то, после голодного тридцать третьего года, он раздирал эту елань, перед ним как раз лежало поле в два с половиной гектара, которое он пахал. Боязливо, опасаясь ненужных воспоминаний, Гуськов глянул на него, уже почерневшее с нижнего края, с торчащей стерней, но поле, напротив, казалось, приветило, утешило его: пригревшись, расслабившись под солнцем, Гуськов действительно задремал. Время от времени тяжелые глаза его размыкались; только они одни, не тревожа больше ничего, привычно следили, не появилось ли где постороннее пятно. Все было спокойно.

Гуськов дремал, и ему мерещились короткие и обрывочные, не соединенные в целое, беспорядочные сны. То капитан Лебедев, командир разведроты, отправляя взвод в поиск, почему-то предупреждает его, Гуськова, что, если он перебежит к немцам, его обменяют на генерала и не расстреляют, нет – много чести! – а будут казнить три дня и три ночи – ох как будут казнить! То на ничейной полосе там же, на Смоленщине, вдруг появляется атамановская мельница, на которую он определен мельником, и в него, не жалея огня, бьют с обеих сторон – лишь из-за него теперь и продолжается война, и победит в ней тот, кто его подшибет. Затем он видит себя в новосибирском госпитале, где хирург, усатый медицинский подполковник, зовет его в свой кабинет пить спирт и за спиртом предлагает ему подменить только что скончавшегося важного полковника. И опять он на фронте, уже при гаубице; он теряет ящичек с прицелом, и его отдают под трибунал. Длинное-длинное узкое поле, залитое ярким светом прожекторов; он идет по этому полю, задыхаясь от жары, а свет все накаляется и накаляется, синее и пышет огнем.

Он очнулся, но долго еще сидел без движения, угнетенный и уязвленный этими бродячими злыми снами. Ничего от правды в них не было, никто никогда в плохом его не подозревал. Но вот ведь как последний шаг подгнетает под себя всю жизнь: даже сны переменялись, даже они, возникающие в нем же, выступают против него. Что спрашивать с остального?

Пригрезившаяся мельница навела Гуськова на мысль сходить к ней. До нее было не

близко, но и день для Гуськова тоже только начинался. На мельнице скорей всего никого сейчас нет, время не помольное. Он снова поднял с мякины воробьев, которых вдруг возненавидел, и стал по краю поля спускаться вниз, затем, когда поле кончилось, круто повернул к речке. Снег в холодном еловом лесу почти и не таял, солнце здесь и на открытых местах было слабей, чем на еланиях, на полянах лежали четкие, как вытиснутые, раскрытые тени деревьев. Валенки Гуськова ступали тут уверенней, и он опять приободрился. Он чувствовал волнение, оставшееся от прежних лет, – когда-то он любил бывать на мельнице. А кто не любил? Это была праздничная, веселая, итожная работа молотить хлеб. После страды наезжали сюда в очередь, с удовольствием оставались ночевать, но не спали: старики курили и бормотали, молодежь-холостежь шухарила, взвизгивали в кустах девки, выдумывались забавы, горел костер, подогревая чайник за чайником, а жернова все ходили и ходили с сытым ворчащим шумом, и все сыпалась и сыпалась в подставленные мешки теплая, парная мука.

Гуськова засветили эти воспоминания, он улыбался, душа его, казалось, отогрелась и ублажилась. Но ненадолго: подходя к мельнице, он насторожился, напрягся, выгнул тело вперед и, приостанавливаясь и призывая себя к вниманию, тихонько за-прукал губами. Человечьим духом вроде не пахло: и верхняя и нижняя двери были замкнуты, на лестнице, по которой поднимали зерно, лежал снег. Гуськов подождал еще, удерживая себя не торопиться, и от ближних вербных кустов пошагал к двери. Замок на ней, как и раньше, висел для блезирю: Гуськов дернул его – он тут же раскрылся. И правильно сделал иначе Андрей выдернул бы пробой или выставил раму в окне, но не отступил.

Внутри было холодно и пыльно, на полу оставались от валенок белые следы. Сначала Гуськов заглянул в каморку мельника и нашел там на полке большую эмалированную кружку, две головки чесноку и полпачки соли, на стене висела ножовка. Он затолкал все это в рогожный куль, валявшийся под лавкой, и пошел проводить ревизию всей мельнице. Дважды поднимался он наверх, обшнырил все углы, все закоулки, но ничего полезного больше не отыскал, кроме еще одного мешка да книжки с оборванной коркой. Их он тоже прибрал: пригодятся.

Он вышел на воздух, навесил обратно на дверь замок, осмотрелся, и его вдруг охватило безудержное, лютое желание поджечь мельницу. Долго ли – вон валяется береста, спички есть, постройка давняя, сухая, займется быстро. Он помнил себя, понимал, что нельзя поджигать и что в конце концов он не посмеет поджечь, но дьявольский искуc был настолько силен, так хотелось оставить по себе жаркую память, что он, не надеясь больше на свою волю, не доверяя ей, подхватился и заторопился прочь от мельницы, подальше от греха. Лишь возле запруды он на минутку задержался, остановленный сиянием чистого, зеленого стекольного льда, под которым, завораживая и потягивая за собой взгляд, шевелилась вода. Гуськов представил, как на лед, грязня его, стали бы отлетать и с шипением дымить головешки, – что-то в нем с новой силой запросило этого зрелища, и он ушел – опять в гору, в поля.

Весь день он бродил по еланиям, то выходя на открытые места, то прячась в лесу; порой ему до страсти, до злого нетерпения хотелось увидеть людей и чтобы его увидели тоже, увидели и встревожились, что он за человек, затем на него без всякой причины накатывали приступы страха, и он подолгу стоял не двигаясь, не смея пошевелиться. Журчали ручьи, на солнцепеке дымилась земля, вязкие, хмельные запахи кружили голову. От них или от чего-то еще Гуськов угорел: у него полностью выпал большой, в два-три часа, кусок дня после обеда; припоминая потом, где он тогда был и что делал, он ничего не мог ответить, из этого беспомыслия доносилось только пение петухов из деревни, надсажающее его душу, да звенела вода. Валенки его вымокли до того, что хоть выжимай, ноги в них чавкали и зудились, а он все шел и шел куда-то, не разбирая дороги, не выбирая, где тверже и суше.

Вечером он не рассчитал время и спустился к деревне в поздних сумерках. Но предметы, постройки еще выделялись; он отыскал глазами свою баню и не увидел над ней дыма. Гуськов похолодел: весь день он почему-то не сомневался, что увидит его, и даже с

уверенностью прикидывал – вот сейчас Настена таскает воду, сейчас она растопила каменку... Неужели сорвалось? Кажется, впервые за свою бродячую жизнь Гуськов взмолился богу: «Господи, не оставь. Сделай, господи, так, чтоб баня уже протопилась, – ты можешь, еще не поздно. Сделай только это одно и поступай со мной как знаешь, я со всем соглашусь». Его неожиданно принялась бить крупная, прохватывающая длинными очередями, нервная дрожь и, потрепав, словно внушив что-то, так же неожиданно оставила; после нее тело прорвалось занывающей слабостью. Гуськов присел на подвернувшийся пенек и стал дожидаться ночи.

Взлаивали и умолкали собаки, доносились живые, идущие от людей, звуки, изредка слышались голоса, но все то доплескивалось до Гуськова вялыми, невесть с чего берущимися волнами. Он, как и ранним утром, выстыл опять от чувств, его терзало только одно, самое важное: что с Настеной? Но огни в окнах волновали все же Гуськова, ему представился самовар на столе, горящий камин, тень от огня на стене, взбитые на кровати подушки, половики под босыми ногами – пахло родным духом, от которого сладко и безнадежно заныла душа – заныла, поныла и понимающе свернулась. Гуськов отвернулся от огня и закрыл глаза – в наступающей тьме он походил на корягу.

Потом, когда деревня затихла, он в одно приготовленное, заранее намеченное мгновение решительно поднялся, короткими кивками головы, не тревожа рук, перекрестил себя и зашагал вниз к Ангаре. По льду он дошел до бани, вскарабкался на яр, у прясла задумчиво замер – не столько от осторожности, сколько от важности следующей минуты, и подлез под жердь. Еще у двери он почувствовал, что внутри тянет теплом.

Он вошел в баню, прикрыл за собой дверь, неторопливо снял с ног тяжелые и мокрые, опостылевшие за день валенки и лишь после этого, приготовившись, зло и победно клохча, засмеялся. Он с трудом удержал себя, чтобы не зашуметь, не закричать, не запеть, всполошив все кругом, – не отпраздновать тем самым вволюшку своей радости.

О Настене он здесь близко как-то и не вспомнил, ему было достаточно того, что баня горячая.

14

Все – началось. И началось, как Настена ни сторожилась, как ни готовилась к этому, неожиданно.

В апреле, едва согнало снег, Михеич с Настеной взялись за дрова. Пилили недалеко от деревни, чтобы можно было, когда у обоих совпадало свободное время, прибежать на час, на два, поширкать пилой, сколько удастся, и обратно. Колоть чаще всего ходил один Михеич, потом Настена так же набегала складывала наколотое в поленницу. Но пилилось нынче плохо, Михеич, как никогда, быстро уставал и за каждой чуркой отдыхал. Без кряжей и раньше не обходилось, а теперь, судя по всему, только на них в новую зиму и оставалась надежда.

Ружья Михеич с собой не брал, оно тут, в версте от деревни, было ни к чему. Но лесная работа все-таки, видать, растревожила охотничью душу Михеича: он взялся наготовавливать патроны, почистил свое ружье и однажды, перед самым выходом в лес, закрывая дверь в амбар, где он долго возился, вдруг спросил:

– Тебе, дева, не попадалась на глаза Андреева «тулка»? Все перерыл как сквозь землю провалилась.

Настена, ожидавшая свекра, чтобы идти, застыла с пилой в руках посреди ограды. Она постоянно боялась этого вопроса, давно приготовилась, как на него отвечать, и все же он застиг ее врасплох. Не сейчас бы объясняться со свекром, ох, не сейчас бы – в другой раз: уж больно неподходящее было время.

– Нигде не видала? – респросил Михеич, готовый отступить от нее.

– Видала, – с дурацкой, растерянной улыбкой призналась Настена и, чтобы не говорить громко, подступила к Михеичу ближе. – Я ее продала, тятя. – В особенные моменты она

называла его, как и Андрей, тятей.

– Продала? Когда продала, кому?

– Давно уж. Все боялась сказать тебе, боялась, что будешь ругаться. Когда отвозила уполномоченного в Карду... Ты тогда обозлился на меня за облигации – и правда, думаю, где взять столько денег? Сдуру ведь болтанула, а где их столько взять? А он сам: посмотрел, оно ему поглянулось. Пристал: продай да продай. Ну и продала... уговорил.

– Че ты, дева, собираешь? Кто посмотрел? Кто уговорил? Ниче не пойму.

– Какой-то мужик в Карде. Я его не знаю, помню, что в военной шинельке был. Катя Хлыстова, невестка Афанасия Хлыстова, однако, знает, она с ним по-свойски разговаривала. А мне неудобно было допытываться, кто такой. Уговорились – и ладно.

– Дак ты его, ружье-то, с собой, че ли, брала?

– С собой. Думаю, ну как обратно в темноте придется ехать... боязно.

– И продала?

– Продала.

Михеич стоял на предамбарнике, где его застала эта новость, со сморщенным, некрасиво застывшим от напряжения лицом и раскрытым ртом, голова его подалась вперед, к Настене, глаза непонимающе мигали.

– Ты, Настена, не шутку надо мной шутишь? Ты правду говоришь? – все еще не хотел он поверить.

– Правду. Сразу надо было... все откладывала, боялась.

– А ты как думаешь: Андрей придет, он нам спасибо за твою продажу скажет? Или как?

– Придет – наживем, поди. Я ж хотела, как теперь выпутаться, я не для себя.

– Наживем... – повторил Михеич и мелко закивал головой, соглашаясь скорей всего не с Настеной, а с какой-то своей нерадостной мыслью. Он помолчал, доводя до полного, окончательного решения эту мысль, и вспомнил, спросил, чуть поворачивая лицо на сторону, подставляя ухо, чтобы лучше слышать: – Ну и... за сколь продала?

Наступил самый интересный, самый скользкий момент во всей этой истории.

– Счас, – пообещала Настена, пошла в избу и достала с полочки завернутые в тряпицу часы, которые отдал ей в свое время Андрей. Когда она воротилась, Михеич спустился с предамбарника и сидел на приступке. – Вот, протянула ему Настена часы.

Свекор отшатнулся от них и поднялся на ноги.

– Это... че тако? – опешил он, и лицо его от излишнего внимания опять сморщилось.

– Часы. Это часы, – заторопилась Настена объяснять. – Я его, ружье-то, не на деньги продала, а вот на них. Вроде как поменяла. А часы легче продать, они, тот человек сказывал, особенные, иностранные, их шибко ценят. Ты погляди, они на трех стрелках. – Настена быстро подкрутила заводное колесико, которое она, похоже, трогала не в первый раз, и сунула часы в руки Михеичу. – Погляди: большая-то тонкая стрелка прямо на глазах бежит, так и скачет, так и скачет. Я таких сроду не видывала. Вот ведь до чего додумались, до какой красоты... и всегда правильно показывают, не врут. Михеич со страхом, как бомбу, повертел часы в руках, придерживая одну ладонь другой, и тут же вернул обратно. – А в темноте они светятся, вот эти точки прямо белым огнем горят, все видно, – со слепым отчаянным восторгом добавила Настена и умолкла.

– Ружье – на часы, на игрушку, – приходя в себя, проговорил свекор. Ну и ну.

– Часы легче продать... Ружья здесь у каждого, а часы... да еще такие часы... Их с руками оторвут, только покажи.

– Вот тебе, дева, следовало бы за это кой-чего оторвать. Чтоб думала маленько, а не, кидалась сломя голову незнамо на что. Кому ты их продашь, кому они нужны?! Солнышко-он ходит.

«В темноте светятся», – озлился он, вспомнив, что выставляла Настена козырем для часов, и сплюнул. – А на что он мне, этот свет? Вшей при ем бить?

– Иннокентий Иванович купит, – не сдавалась Настена. – Я знаю, они поглянутся ему, он любит такое – только показать. Уполномоченный, которого я отвозила, он у меня их за

две тыщи рублей выпрашивал, – ввернула она для убедительности. – Да еще как выпрашивал...

– За сколь, за сколь?

– За две тыщи.

– Ну и че не отдала, если такой дурак находился?

– Они, может, побольше стоят.

– Вот и ищи за побольше. Погляжу я, как ты найдешь. Две тыщи рублей... Он, уполномоченный-то твой, в дурачки, поди-ка, с тобой играл, а ты поверила. Ладно, – обрезал он, – пойдем. И так сколь потеряли из-за твоих часов. Порадовала ты меня, хватит. Да убери ты их с глаз моих, убери, Христа ради.

Они пошли. Но Настена предчувствовала, что разговор этот не закончен, что Михеич не вытерпит и еще вернется к нему, – слишком долго им предстояло оставаться вдвоем, а, взбредившись, говорить после этого о чем-то другом далеко не просто. Настена побаивалась, хотя самое страшное на сегодня, она надеялась, миновало, теперь важно было держаться своих слов, не сбиться с них, прикидываться все той же недотепой. Зато изморное, тягостное ожидание прорвалось, одна пропажа – худо ли, хорошо ли, но оправдана, потом, если все продолжится скрытно, станет легче – до того, конечно, интересного момента, когда понадобится оправдываться уже не в пропаже, а в находке – в приплоде. Но до этого пока еще далеко, хотя сомневаться в этом больше не приходилось.

На месте они сразу, не споткнувшись, взялись за сосну, заранее намеченную, чтобы валить. Михеич сделал подруб с той стороны, куда смотрела сосна, напротив него стали пилить. Дерево было не толстое – выбирали полегче, но пила почему-то шла вязко и забирала много силы; Михеич скоро задохнулся и закашлялся. Дожидаясь, пока он успокоится, Настена присела на землю и среди прошлогодней травы вдруг заметила бледный зеленый росточек он блеснул и погас, но Настена, склонившись, отыскала его снова, а рядом с ним нашла еще и еще. Она сорвала один и, лаская его в руках, задумалась, подступая, как ей казалось, к какой-то важной дальней мысли, которая способна принести ей надежду, но мысль эта, дразня, так и не далась Настене, ускользнула от нее. Подошел, накашлявшись, Михеич, и Настена показала ему:

– Гляди, новая травка уж полезла. Впервой нынче вижу. Он, не ответив, потянул на себя пилу. Настена пожалела, что заговорила: выходило, что она подлизывалась к свекру, пыталась травкой замаять свою вину.

День стоял светлый, но неяркий и тихий – какой, – то сонный и это при солнце на небе; солнце, казалось, истончилось, догорая, его слабый свет повисал в воздухе, не доставая до земли. Где-то насвистывал бурундук, далеко на горе лаяла собака, скрипело старое дерево, но звуки эти не мешали тишине, снимали с нее тяжесть. Походило на то, что день специально выдался таким незаметным и укромным, чтобы без боязни всходила из темноты трава и набухали на деревьях почки.

Сосна под пилой наконец хрустнула, верхушка ее дернулась, замерла еще в отчаянном усилии удержаться, выстоять и не смогла – пошла, повалилась, раздирая оставшуюся ткань. Михеич с Настеной отскочили в сторону. Комель повернулся на пне, ствол в воздухе крутанулся и ухнул – высоко в воздух подскочила, оборванная ветка, сотряслись кусты, за рекой отозвалось эхо. Михеич подобрал у поленницы топор и пошел обрубить сучья, Настена, как всегда, стаскивала их в одну кучу.

Потом, когда, подготовив сосну для распилки, они сели отдыхать, Михеич спросил:

– Ты, Настена, правда не знаешь, где Андрей? Вот этого она не ожидала чего угодно, но только не этого; тут было отчего испугаться.

– Андрей? – вскинулась она, и страх удачно подыграл ее удивлению. – А откуда я буду знать? Почему ты спрашиваешь?

– Не знаешь, значит?

– Ничего не знаю. То же и знаю, что ты. Откуда мне еще знать? Мы, кажись, в одном доме живем.

Он смотрел на нее пристально и мучительно – не смотрел, а пытал, словно не доверял ее словам и хотел по виду, по тому, как она держится, понять, что ей известно.

– Я подумал, что ты, может, че другое знаешь. Может, че сказать не хочешь. Дак ты это... скажи, Настена. Мне одному скажи. Не скрой.

– А что говорить-то? – опомнившись, она стала отвечать уверенней. – Что я тебе, интересно, скажу? Если б было что сказать, я бы не сказала, что ли? Я столько же знаю, сколько ты.

– Да я спросил только... А спросил из-за того, что какая-то не такая ты за последнее время сделалась.

– Какая не такая? – с осторожным, выведывающим интересом удивилась Настена.

– Вроде как сама не в себе. Может, показалось... Но я ни в жисть не подумал бы, что ты без спросу ружье на какие-то часы станешь менять. В тебе раньше этого не было. Че-то с тобой, дева, деется – окромя ружья видать. Как вроде че-то ты все время боишься... торопишься все время... Может, ты уйти от нас собираешься?

– Не-ет, куда мне уходить? Поживу, покуда сами не выгоните, – искренне, со своей затаенной искренностью отозвалась она. – Скоро кончится, поди, война – что-то будет.

– Где от он?

– Я не знаю, где он, я сказала.

– Да я уж не у тебя, дева, спрашиваю.

Они взялись опять за пилу; Настена водила ее вперед и назад, от себя и на себя, и, бросая украдкой взгляды на свекра, пыталась понять, поверил он ей или нет. Уж одно то, что он заподозрил, будто она знает что-то об Андрее отдельно, не сулило ничего хорошего. Нетрудно было догадаться, что с этого дня он станет следить за ней, – неволью станет следить, если даже сейчас поверил, потому что от подозрения так просто не отделаешься: оно, появившись, существует самостоятельно, и это оно потом забирает власть над человеком, а не человек над ним. Теперь придется вдвое, втрое быть осмотрительней и рассчитывать каждый свой шаг. А что его рассчитывать, что осторожничать, если месяца через два напухнет пузо, от которого не отговоришься, как от ружья, – эти часы затикают громко и безостановочно. Настена не могла представить, что ей готовится, ее воображения на это не хватало; то, что должно было свалиться, не с чем было сравнить, его приходилось покорно ждать, ничего не предпринимая, пока не обнаружится всенародно, что с ней, пока не ткнут в нее пальцем и не спросят, – и тогда уж карабкаться, карабкаться, надеясь только на собственные силы, потому что никто ей не поможет, – только на собственные силы, которыми одной понадобится спасать всех троих. Достанет ли сил, она не знала и не хотела заранее думать об этом, надеясь все же, что она не из слабеньких, и боясь в то же время, что тут, кроме сил и терпения, потребуется что-то еще, чего в ней не окажется. Можно, наверно, вынести любой позор, но можно ли обмануть всех людей, весь мир разом, чтобы никто никогда не открыл правды? Не мало ли для этого одного человека, его хитрости и изворотливости, какими бы удачными они ни были? Не слишком ли большой принимаемой грех? Больше себя самого, больше всей оставшейся жизни, которой пришлось бы его замаливать.

В какой-то подходящий момент ей захотелось открыться свекру, что она беременна, чтобы избавиться заодно и от этого, самого трудного страха перед будущим разоблачением. Семь бед – один ответ. Смирись он с этим – пусть не сразу, не легко, но смирись в конце концов он с этим, ей было бы намного спокойней, остальное она бы вынесла. Но Настена пожалела Михеича. Она наперед увидела, как он испуганно замер, с какой тяжелой и угрюмой мыслью склонил голову, не решаясь спросить то, что следует в таких случаях знать, нет, достаточно с него на сегодня ружья, а с нее достаточно уже состоявшегося разговора. Не получилось бы так, что, признавшись, она еще больше подтолкнет свекра к его подозрению, убедив его в том, что сейчас ему, быть может, только мнится. Настена боялась, что Михеич знает ее лучше всех и не поверит ее неуклюжим придумкам. Слишком тогда все сойдется одно к одному и укажет на Андрея – этого она позволить не имела права: любой намек,

любая неосторожность были ей запрещены.

Они распилили сосну и собрались уходить: времени больше не оставалось. День уже далеко склонился, заглядывая вниз; в одном небе сошлись на разных сторонах солнце и месяц; узкий и острый серпик месяца мерцал при бледном солнце со злой напористостью. Настена всякий раз чего-то боялась, когда видела их вместе, и не понимала, почему они, как положено, не могут разойтись. И теперь ей тоже стало не по себе. Она, не жмурясь, в полные глаза смотрела на солнце, и ей казалось, что она чувствует, как до нее достают колючие холодящие лучи месяца.

Перед уходом Михеич присел на чурку, и Настена насторожилась, опасаясь, как бы он снова не заговорил об Андрее. Но уходить одна она не решалась; Настена не хотела, чтобы он подумал, будто она убегает от него. Он закурил и, подымив две минуты, поднялся; Настена вспомнила, что он не любит курить на ходу. Молча, связанные неприятной недосказанностью, они вернулись в деревню.

Убираясь по хозяйству, домашничая, Настена несколько раз за вечер спохватывалась с испуганной оторопью, что тот человек, который пытался сегодня запутать Михеича, но не запутал, а скорей всего только насторожил, что человек, о котором боязно задуматься, представить, что с ним будет, который, как нарочно, делает глупость за глупостью, чтобы погубить себя, будущее которого обрывалось за ближайшими месяцами, а настоящее разошлось на отдельные, разные, чужие друг другу куски, – что человек этот и есть она сама. Ей становилось страшно, страх был испытующий, тягучий, словно рассчитанный надолго, и игриво послушный: при желании он снимался, будто показывая, что законное его время еще не пришло, затем снова накатывал и снова снимался, оставляя после себя особенно мучительную тревогу. Вот тревога не убывала, с ней Настена справиться не могла. Она видела, что жизнь ее сегодня сделала важный поворот к тому, чему быть; тайна, которой она должна была владеть одна, замерцала, похоже, сегодня перед другими глазами тут невозможно оставаться спокойной. Настена упрекала в этом себя: значит, не то она выдумала, не так говорила, не сумела как следует спрятать то, что требовало особой заботы, не сумела убедить Михеича, что она все та же открытая, послушная душа...

Не находя себе места, Настена ждала, когда свекор вернется с работы, чтобы посмотреть, как он поведет себя с ней и что скажет, ей необходимо было находиться рядом с ним – даже от худшего, если оно выкажется, ей в таком случае станет легче, понятней, чем от неясных и путаных опасений. Она надеялась, что, будь у Михеича что на уме, он не вытерпит и скажет, а хоть и не скажет, так чем-нибудь выдаст. Он человек не скрытный, не хитрый, любит договаривать до конца.

Но Михеич, она знала, приходил с конного поздно, уж в потемках, поэтому, чтобы не маяться попусту и куда-нибудь пристроить себя, чем-то занять, Настена после домашних дел отправилась к Надьке.

У Надьки ужинали, вернее, усаживались за ужин. Перед каждым лежала на столе кучкой поделенная по старшинству картошка: перед младшей, Лидкой, четыре штучки, перед Петькой пять, перед Родькой и матерью – по шесть. И по ломтю хлеба. Настену тоже пригласили за стол, от еды она отказалась, а чаю налила и под села к Лидке. На Лидку было больно смотреть: она в один миг уплела свой хлеб и, принявшись за картошку, бросала быстрые и жадные взгляды на ломти братьев. Надька прикрикнула на нее, чтобы она не подавилась. Наблюдая за Лидкой, Настена почувствовала усталость от привычной тяжелой мысли: когда это кончится? Когда выправится нормальная, зависящая от самого человека, а не от какой-то посторонней жестокости, от какой-то геенны огненной, жизнь? Когда хоть ребятишки станут питаться досыта? Они-то в чем виноваты?

Все с той же бешеной скоростью Лидка умяла картошку и, не найдя больше ничего перед собой, удивленно запнулась, держа на весу руки и вода голодными ищущими глазами.

Никто не хотел замечать ее растерянности: для того мать и делила еду, чтобы каждый рассчитывал только на свою долю.

– Пей чай и ложись, – подтолкнула ее мать, и девчонка послушно взялась за стакан.

Настена не вынесла, пошла в куть, где, заметила она, горбилась под полотенцем оставленная на завтра коврига, и хоть помнила, что Надька может расшуметься, отрезала все же на свой страх и риск небольшую краюшку и принесла Лидке, чтобы та пусть не насытила, но уговорила голод, не обрывала его на полном скаку. Надька промолчала. Но чуть позже, когда Настена взяла Лидку к себе на колени и прижалась к ее худенькому подрагивающему тельцу, она обиженно, с подначкой, сказала:

– В дети не хочешь взять?

– Зачем я у тебя буду брать? Я, может, сама скоро рожу – ты же не знаешь.

Ответила так и пожалела: что ее вынесло? Потом, когда Надька заметит неладное, она припомнит эти слова, они-то как раз и помогут ей раньше всех разглядеть неладное. Да и не заметила ли она уже сейчас, по голосу, по тому, с какой уверенностью и вызовом прозвучал ответ, что это не просто отговорка, что в ней что-то есть.

– Че же ты раньше не рожала? – резонно спросила Надька.

– Не хотела.

– Ишь ты: не хотела. Пережидала, когда война пройдет, – так, что ли? Хитрые, погляжу я, вы все. Нет чтобы мне шумнуть, что, мол, война готовится, я бы тоже, глядишь, не стала бы каждый раз их таскать, попридержалась бы.

Настена засмеялась, представив, как Надька, пять лет дожидаясь начала войны и четыре – ее конца, никого к себе не подпускает – ни Витю, ни кого другого. Она сказала об этом Надьке, и та тоже хохотнула.

– Куда мне, – согласилась она. – Это ж какое терпенье надо! Мне волю дай, я бы каждый год их таскала. И еще на второго оставалось бы по три месяца – я удобристая, с первого раза завожусь. У меня всегда все наготове. Не то что у некоторых, – не утерпев, кольнула она Настену. – Мне если б не беречься, я бы тут цельный ребятник развела – успевай только принимай да корми. За мной бы никакой гарем не угнался. Слыхала про гарем? Мне Витя про него из книжки рассказывал. Что это за бабы такие, что одному мужику их много надо? И вот он ходит, петушится перед имя: захочу – выберу, не захочу – оставлю тосковать. Пускай бы он надо мной покрылил, я бы с него петушиный гонор-то сбила, я бы ему, капиталисту бабьему, показала, где раки зимуют. Что это, правда, за бабы, что их табун надо держать, чтоб ребятишек маленько развести? Я бы им одна нос утерла. – Надька издевалась над собой, наговаривала на себя, но, издеваясь, и гордилась: она свой бабий долг исполнила, этого у нее не отнимешь. Раньше Настену, наверно, задело бы Надькино хвастовство, но сейчас ей было даже приятно его слушать.

Лидка, приласкавшись к Настене, уснула; Настене и спящую ее держать доставляло удовольствие, ей чудилось, что плод ее, отзываясь и ревнуя, торопится в эти минуты как никогда.

Она вернулась домой и застала картину, которую совсем не ожидала увидеть. Михеич учил Семеновну ходить на костылях. Он давно уже изготовил их, да Семеновна наотрез отказывалась вставать на эти подпорки, но сегодня Михеич каким-то чудом сумел настоять на своем. Семеновна мучилась: оперев костыли в подмышки, она почему-то, как стреноженная, выбрасывала их вперед одним махом и, чтобы не упасть, заступала на больные, подламывающиеся ноги, – заступала, хваталась руками за что попало и принималась охать и причитать.

– Ты попеременке, попеременке их двигай, – наставлял Михеич. – Чего такая бестолковая-то? Ты не прыгай, отпрыгалась уж, хватит. Совсем он без ног ходят, а твои ноги ишо живые, подсоблять помаленьку можно. Ты научись сперва шагом ходить, опосля уж торопись.

– Гошподи! – стонала Семеновна. – Зашто мне такое мученье на штарошти лет?... Пожалей хоть ты меня, прешвятая богородица. Втолкуй ты этому штарому дураку, што до могилки я и без его коштылей доеду. Ты хошь в гроб-то их ко мне не клади, – набрасывалась она на Михеича, – не позорь меня там. Ить надо же: дошпел, ш пецки меня шнял: иди. Куды иди? Куды иди?

– Ну, посиди, посиди, – усаживал он ее на топчан. – Отдохни, раз пристала, че ж. Ноги-то болят?

– Как же не болят? Как же не болят? Огнем горячим полыхают. Гошподи... не болят, говорит.

Настена поставила возле русской печки самовар, направив колено трубы в дымоход, и хотела засветить лампу, но Михеич остановил, сказав, что керосин выходит и его надо беречь. Он разжег камин. Настена обиделась, ей показалось, что, если б это не она взялась за лампу, ее чуть погодя запалил бы сам свекор, а так он нарочно пошел Настене наперекор. Камин с месяц уж, как прибыл день, не трогали, а он вот вспомнил о нем, сходил за смольем – не спор ли, молчаливый, но твердый, вспомнил?

Зашумел самовар, загудел камин, отбрасывая длинные ворожущие отсветы огня на стены и окна, и в избе стало теплей и живей. Семеновна сидела с недоступным, отстраненным лицом и вялыми движениями рук, согнувшись, разминала ноги.

– Ну, че, старая, дальше поедем? – окликнул ее Михеич.

– Доконать меня хочешь? – со слезливым вызовом в голосе спросила она.

– Ага.

– Давай, доканывай. Не жалей.

Со злой, обреченной решимостью она взялась подниматься: сначала снялась с топчана, привстав на согнутые, как сидела, ноги, затем потихоньку стала распрямляться, надавливая на колени руками. Михеич подsunул ей опять под мышки костыли. Настена, готовясь подхватить свекровь, зашла с другой стороны. Но Семеновна на этот раз на удивление скоро разгадала шаг в этой новой для нее ходьбе: опираясь на один костыль, она тычком переносила второй вперед и переваливалась на него. В ее голосе, как у ребенка, впервые овладевшего тем же ремеслом, слышались капризное нетерпение и гордость, когда она потребовала:

– Ну-к отойдите, не держите. Шама.

Она прошла по горнице из угла в угол, долго разворачивалась, развернувшись, воротилась обратно к топчану и, удовлетворенно прихивая, села. Михеич, наблюдая за ней, беззвучно смеялся, плечи его вздрагивали, усы подпрыгивали. Не оборачиваясь к нему, Семеновна устало согласилась:

– Нице, годятша ноги рашхаживать. Их когда рашходишь-то, на их приштупать можно.

– Ну от, – весело сказал Михеич. – А то на двоих одна моя нога – далеко ли мы так с тобой ускачем? То ли дело теперь: три здоровых, две лечить, поди-ка, можно, да одна в запасе.

– Ох, увидел бы меня Андрюшка, как я коштыляю, уж он бы пошмеялша... Ох и правда, кому шмех, кому грех.

– Нам с тобой, старуха, совсем на печку забираться нельзя, – с какой-то особой – теплой, но и требовательной убежденностью, которая показалась Настене не случайной, сказал Михеич. – Хошь и на костылях, а шевелиться надо.

Настена почувствовала в этих словах скрытый, тайный смысл и отнесла его к сегодняшнему разговору. Нет, для свекра он напрасно не прошел, свекор что-то понял, что-то решил, – что-то такое, что заставило его, не мешкая, поднимать Семеновну на костыли. Уж не готовит ли он ее к тому, что скоро придется обходиться без Настены? Но почему? Почему?

– А лето придет, ноги твои, глядишь, ишо отогреются, побегут, подбадривал он старуху. А она отзывалась:

– Хорошо бы, ох, хорошо бы напшледок.

– Помнишь, как ты раньше поперед всех взбегала на елань?

– Помню... как не помню... Ты бы уж, Федор, не поминал, не бередил меня.

Настена вздрогнула: давным-давно старики не называли друг друга по именам, и она забыла, что свекра зовут Федором; имя это случайным отзвуком донеслось из далекой и звонкой их молодости. Настена взглянула на стариков они, занятые воспоминаниями,

молчали.

И вдруг невесть с чего, с какой-то невольной и неясной обиды, такой она почувствовала себя одинокой, такой окаянно-несчастной, понапрасну загубленной, обманутой и чужой, что горло тут же забил удушливый комок и захотелось плакать – горько, опустошительно, навзрыд. Но она сдержалась: плакать было нельзя, даже эта откровенность ей воспрещалась. Она поймала удобный момент, когда Михеич пошел в куть, кинулась за ним и торопливым шепотом спросила:

– Тятя, ты не злишься на меня за ружье? Не злишься, а?

– За ружье? – Он был еще в другом мире и не сразу понял, о чем она говорит. – Да нет, дева, не злюсь. Че уж тут о ружье...

И эта недосказанность только прибавила тревоги в ее заблудшую душу.

15

В последний раз Гуськов побывал в бане в середине апреля, уже по ненадежному, разльывистому льду. Он нашарил под полком объемистый мешок и перетащил его в зимовье. В мешке оказалась картошка, несколько головок луку, две редьки, наволочка с гороховой, как и раньше, мучицей, а в ней с десяток яиц, в холстине – коврига хлеба, в другой, грубой холстине, предназначенной на портянки, – старые ичиги, внутрь которых были затолканы кусок кожи, дратва и сапожная игла для починки; кроме того, в мешке нашлись темная рубаха, ржавые овечьи ножницы, огрызок химического карандаша, немножко соли, немножко листового табака, черный обмылок и, к удивлению Андрея, четушка самогонки. На этом добре Гуськову предстояло продержаться неизвестно сколько, но никак не меньше месяца, до тех пор, пока по полой воде не приплывет Настена. Пока опоражничивал мешок, казалось много, богато, но уже через три дня пришлось брать на учет каждую картофелину и каждую щепотку муки. Табак он намешивал пополам со мхом, но и эту гадость постановил себе курить до трех, а позднее и до двух закуток в день – утром и вечером.

Зимняя Ангара совсем прохудилась, лед болезненно посинел, у берегов, да и не только у берегов, разлились полыньи. Дорога через Ангару, обтаявшая по сторонам, почернела и выторчилась, по ней с недовольным карканьем ходили вороны. Корявые лиственницы на острове в чистом весеннем воздухе виделись мрачными, уродливыми, словно нарочно подпорченными чьей-то недоброй прихотью, хотя и нетрудно было понять, что там, под постоянным ветродуем, без изъяна дереву подняться трудно. Да и везде, в любом, даже светлом березовом, лесу – самая унылая и неприглядная пора, как известно, промежуток между снегом и зеленью, когда человеческие чувства обострены до тоски, до голода и не хотят мириться с пустотой, чернотой и затхлостью, каких осенью не бывает.

Сбросив наконец ненавистные валенки и переобувшись в легкие, удобные для ноги ичиги, Гуськов много ходил; это было для него лучшее, самое приятное состояние – идти, двигаться куда ни попало. При ходьбе мысли проще, и занимать их можно тем, что попадаете по пути. Он таскал с собой ружье, но не стрелял, и стрелять было некого: зверь в апреле – мае бережется как никогда старательно, а глухариних токов поблизости не было, птицы вообще в эти места без полей налетало мало.

Чем ближе подступало лето, чем теплей становилось, тем больше проявлялась в Гуськове страсть искать снег – те остатки зимы, которые еще сохранились в глухих, темных углах. Он находил его, останавливался перед грязными и плоскими, мокрящимися ошметками снега и с неподвижной, тяжелой думой прощался с ним веря, что нового снега ему не видывать. Он готовил себя к тому что идет по последнему кругу и круг этот скоро замкнется: он прожил последнюю осень, последнюю зиму, пропускает последнюю весну, впереди последнее лето. Глядя на истаивающий снег, Гуськов ощущал в себе непонятную родственную связь с ним: они здесь были в одно время, и снег, лед – это также последнее, что ему суждено проводить, все остальное останется после него. Он наметил для себя и последний поворот, за которым наступит последний недолгий срок его существования. Этим

поворотом станет день, когда вскрыется Ангара и когда он переберется в верхнее зимовье. Он уже подготовил его, даже перенес туда кой-какие шмутки, без которых мог обходиться, набросал на нары лапник, чтобы он успел высохнуть, не выдав постороннему глазу, когда сломлен. Раньше этого дня Гуськов запретил себе думать о переезде – именно тогда, в праздник реки и всего, что живет возле нее, он войдет в свое последнее пристанище и сразу, обдав душу восторженной жутью, увидит сверху полую воду – то, что он поставил конечной целью своего присутствия здесь, когда прибежал. Какой далекой она тогда казалась и как скоро она свершилась! Другой цели он не придумал. Ему чудилось, что до лета целая жизнь впереди, и вот ее утянуло, пронесло, вот оно, лето, – а что дальше? Он достанет Настенин подкладыш – четушку самогонки и, глядя на освободившуюся бешеную Ангару, свидетельство его исполненного желания, выпьет. Он выпьет, займется сиротским хмелем, сгоряча перемешает в себе боль и позор, покой и надежду, отчаяние и страх, перемешает, опалит этой мешаниной душу, и доспеет одно-единственное немудреное, светленькое, как окошко, чувство: я есть, что бы там завтра ни случилось, а сегодня я есть. Он наперед знал, что так оно и будет, и, заранее боясь и радуясь этому дню, ждал с холодным удивлением, что он неминуемо придет.

Спал он теперь урывками. Лунные ночи стали беспокоить его, он просыпался в какой-то тягостной беспричинной тревоге и уходил из зимовья. В эти часы у него сильнее, чем обычно, болела раненая грудь. И чем ярче сияла луна, тем беспокойней, удушливей ему было. В своем представлении, что будет на том свете, он видел луну – полную, нескончаемую, без восходов и закатов, неподвижную на низком и плоском, как потолок, небе и почему-то дымящуюся.

Он уходил обычно на берег Ангары, садился в ночную тень и подолгу смотрел на лед, завидуя и заражаясь его бесполезной настойчивостью. Даже и ночью, когда подмерзало, лед изнурялся: его подтачивала снизу и шевелила вода, опадали и рассыпались на сосульки торосы, с мгновенным, чиркающим свистом пробегали трещины, колыхалась и вздыхала тоненькая короста замерзая на полыньях. Гуськов замирал, как зверь, чутко отзываясь на каждый звук и каждое дыхание. Он научился, подчиняя все остальные одному чувству, проникать туда, куда человеку доступ закрыт: ему чудилось, что он слышит, как поет на льду лунный свет, повторяя медленными кругами длинную и легкую звенящую мелодию. Или, напрягшись, он видел могучую струю Ангары, пронизанную сверху глухим зеленым сиянием льда, видел, наметив какой-нибудь знак в воде, куда он передвинется в следующее мгновение. Он жил в эти ночные часы только чутьем и ни о чем не думал, чутье же вело его перед утром обратно в зимовье и окунало в сон.

Остальной сон он научился добирать днем, устроившись где-нибудь в лесу под солнце. Несколько минут он смотрел в небо, скоро изнемогал от его осиянной беспредельной пустоты и забывался, а потом, очнувшись, продрогший и голодный, недовольно озирался: куда теперь? Этот вопрос стоял перед ним постоянно, чаще всего Гуськов не справлялся с ним и брел куда попало, лишь бы брести.

Он шел и внюхивался, всматривался, озирался, иногда принимаясь скрадывать неизвестно кого, придумывал из какой-то даже и не ребячьей, а просто бессмысленной блажной забавы, будто идет за кем-то по пятам, или, наоборот, уходит от преследования, сторожил свой шаг, огибал открытые места, прятался в ельниках, а потом, наигравшись, сам же над собой и смеялся, и, смеялся громко, зло, с придуривающей откровенностью. В такие минуты ему словно бы застило память, он отказывался верить, что был на войне и жил среди людей, а казалось, что всегда так вот один и шатался, не имея и дела, ни долга, что с самого начала именно такая участь ему и была уготована.

Он постоянно хотел есть, и все кругом представлялось ему, как и он, голодным и жадным; его домогал даже воздух, сосущий и острый – слишком много приходилось воздуха на одного человека. Гуськов захлебывался, давился им, чувствуя, как чрезмерное, напористое дыхание отнимает у него последние силы.

Накануне мая он собрался в поход вверх по Ангаре, где можно было стрелять.

Снарядился как следует: кроме ружья, взял с собой топор и на всякий случай мешок – при ночевке пригодится то и другое. Он прикинул, что одним днем эта вылазка не обойдется, ему захотелось опять побродить где-нибудь возле жилья, поглядеть на людей, а до деревни шагать было добрых тридцать верст. Он не знал в точности, пойдет ли до нее, но пойти подмывало, приспичил какой-то неумемный, зудящий срок подразнить себя людьми и потревожить, если удастся, их собой. А может, и не тревожить, просто посмотреть со стороны, услышать человеческие голоса, понять, о чем говорят и чем живут, заполнить внутри себя беспокойную, требовательную пустоту и повернуть восвояси обратно. Идти к Рыбной, где его могли увидеть и признать, он не решался, лучше всего для этого годилась незнакомая деревня. Мало ли что действительно случится?!

Он вышел рано утром по первому свету и еще до обеда был на берегу напротив Каменного острова, где промышлял зимой коз. Посреди синюшного, источенного солнцем и водой льда остров торчал сейчас особенно голо и неказисто, но Гуськову захотелось тут же, не мешкая, пойти к нему, захотелось из-за пещеры, в которой он ночевал во время охоты и которая навела его на удачу. Не останься он в той пещере, неизвестно, повезло бы ему или нет. Она манила к себе какой-то особенной, потайной, сродни ему, запретной властью, и манила тоже для тайны, которая могла там открыться или которую там можно укрыть. Гуськов до сих пор верил, что пещера попалась ему на глаза не случайно, что в том, что он наткнулся на нее, была не иначе как воля судьбы. Его вообще в последнее время стали тянуть к себе все укромные места, какие только встречались в лесу, даже самые малые и бесполезные. Так, он вдруг останавливался возле мышиных нор и ковырял в них палкой, словно прикидывая, на что они могут пригодиться, спускался в небольшие впадины и приседал, проверяя, можно ли в них спрятаться; от глубоких, настоящих ям, где еще плавал в воде снег, подолгу не отходил, любясь их обрывистостью и примеряясь к их глубине; он заглядывал под корни вывороченных лесин, мечтая отыскать пустую медвежью берлогу; любил ходить по оврагам, неожиданно среди спокойного шага вдруг вставать за дерево и озираться, забираться в глухой чащобник – он как бы прятал себя по частям, по долям то тут, то там, надеясь сделаться невидимкой. И каменная упряжка на пустынном, заброшенном острове не могла ему не поглянуться, в ней как нельзя более удачно сходилась вместе все то, что он выискивал по крупицам.

Берег напротив острова был широкий, открытый и успел подсохнуть, из земли бледной прозраченькой зеленью сочилась новая травка. Над Ангарой стоял глухой натужный гул, с каким расшатывало лед. Скоро, совсем скоро, ближними днями лед сорвет и потащит, потаргует вниз – во всем вокруг чувствовался этот близкий и звонкий момент. И все было в нетерпении, в ожидании этого момента: казалось, пройдет Ангара – и сразу, без промедления, грянет лето, как, провернувшись, одним махом наберется и засветит, запыхает не остановить, не удержать никакими оглядками. И сразу грянет какая-то новая, переломная судьба. Гуськов вдруг тоже ощутил в себе нетерпение: надо было что-то делать, куда-то торопиться, чем-то заняться. Он наспех поел, зачерпнув воды из шевелящейся полыньи, и двинулся дальше.

По дороге он подстрелил кедровку. Заряда на нее было жалко, но Гуськов знал, что к вечеру он промается не на шутку, а завтра снова шагать, так что следовало подкрепиться получше.

Он не стал подходить близко к деревне, которую еще при солнце увидел на излучине Ангары, а, напротив, повернул от нее в гору и, как ни устал, как ни намаялся, заставил себя уйти подальше. Зверя он давно не боялся, но показывать свой след человеку не хотелось. И утром, продвигаясь к жилью, он сделал прежде большой крюк по горе и обошел деревню с верхней стороны.

И опять он слышал крики петухов и тот невнятный, неразборчивый, звенящий на одном сплошном зыбком голосе гуд, какой висит над каждым поселением. Забавно: даже здесь петухи пели иначе, чем в Атамановке, они здесь действительно пели, а не горланили что есть мочи, как в его родной деревне. Вот что значит другой район. На западе, на

фронтальных дорогах, где приходилось слышать петухов, он всякий раз отмечал, что они там слабей, бережливей, сдержанней, а может, хитрей ангарских, но оказывается, что и на Ангаре они голосят по-разному.

Спустившись с горы, Гуськов наткнулся на поскотину, верхняя городьба которой неровно и дыряво виляла через березник. Городили, похоже, бабы, и городили уже в войну, жерди были протянуты как попало: где с кольями, где просто прибиты или подвязаны к деревьям – и провисли, а поправить руки еще не дошли. Вот посеют хлеба – придется поправлять. Вытянув шею, Гуськов смотрел влево, где в версте или чуть побольше от него маячила крайняя изба, и размышлял, как подобраться к деревне поближе, чтобы видеть, что в ней происходит. Ему и страшно было, и хотелось, не терпелось попытать себя опасностью, хотелось что-нибудь вытворить, напугать и себя и других; в нем начинала разогреваться накопившаяся дурная кровь, разыгрывать неопределенные поперечные желания. Он не понимал, для какой надобности тащился сюда за тридцать верст – не для того же, чтобы постоять вот так возле прясла и повернуть назад.

Нет, следовало найти то, ради чего он затеял весь этот поход.

Неподалеку хрустнула ветка, и Гуськов вздрогнул. Только сейчас он увидел на поскотине за черемуховым кустом корову – крупную, пегую, в больших черных пятнах на белом или, наоборот, в белых на черном; он потому и не разглядел ее раньше, что она была под рябь березника, за которым он стоял. Рядом с коровой пасся теленок – маленький, такой же пятнистый, в мать, первогодок, по третьему или четвертому месяцу. Обрадованно, что отыскалось занятие, Гуськов стал наблюдать за ними. Опустив голову, корова что-то выискивала по земле, хотя подбирать в эту пору зелень, которая еще путем не взошла, было все равно что пить росу. Теленок, кажется, понимал это лучше матери и знай тыкался в ее вымя, а она не давалась, она переступала и отходила. Он лез снова, тогда она, оборачиваясь, отталкивала его тупым комолым лбом.

Гуськов следил за ними с тем же особенным, пристальным вниманием, с каким месяц назад он следил за стригунком на конном дворе, когда высматривал отца. Теперь это внимание еще больше обострилось и напряглось, и, похоже, не зря: он словно чувствовал, что ему никогда впредь не придется иметь дела с домашним, полезным человеку скотом, и, отлученный от него, он тянулся к нему тем сильнее, чем дальше должен был отстоять. По сравнению с другими потерями эта была не самой важной, но почему-то болезненной и непонятной, и что-то в нем не хотело с нею мириться.

Корове, конечно, случайно удалось увести телка со двора: ни одна хозяйка не отпустит в эту пору сосунка на волю. Как корова ни отбрыкивается от него, а домой она сегодня вернется без молока. Гуськов, довольный, улыбнулся, ему показалось, что не кто иной, как он, подстроил этот побег. Не приди он, вполне могло выйти, что и теленок остался бы у себя дома. А теперь, коль выскочил, не отступайся: долби ее, долби, вытягивай все до последней капли – будет о чем твоей хозяйке вечером поговорить.

Но пора было подвигаться потихоньку к деревне, где Гуськова ждало какое-то пока неизвестное ему дело, ради которого он сюда шел. По-доброму, надо бы, наверно, переждать белый день и лишь потом соваться туда, куда его не звали, но ждать он не хотел, его по-прежнему зудило, подгоняя вперед, нетерпение, оно становилось все беспокойней и злей. Гуськов знал, что на рожон он не полезет и последних дуростей делать не станет, и надеялся, что, как бы ни повернулось дело, успеет скрыться. Голыми руками его не возьмешь.

Он тронулся осторожно вдоль изгороди, часто останавливаясь и озираясь. Скоро перед ним открылся край деревни, и только он открылся, донесли звуки гармошки. Гуськов оторопело вспомнил, что сегодня не простой день, что сегодня праздник – Первое мая. Ишь как: справляют, значит. Война не война, а справляют, гуляют, вывесили вон красный флаг, достали сбереженную гармошку, к вечеру пойдут компаниями от избы к избе, запоют, запляшут, распахнутся во всю душеньку – нет, видать, ничем не пришибить народ. И в Атамановке сейчас тоже гуляют. Гуськова охватили не отчаяние и не обида – что теперь обижаться! – а взяло какое-то недоверчивое удивление: празднуют. Как до войны, будто ее и

не было. И наплевать им на то, что он бродит поблизости, он тут для них не существует.

Теперь понятно, как удалось теленку вырваться из загородки на свободу. Гуляют. Все мелкие заботы сегодня ничего не значат: у людей праздник. Гуськов оглянулся: корова медленно подвигалась к березнику и была уже недалеко от того места, где он только что стоял. Он направился дальше и снова оглянулся, всматриваясь в теленка с неожиданно павшей жестокой мыслью. Теленок взбрыкнул задними ногами, будто кто его ужалил или ткнул, отскочил в сторону и скоро успокоился, принявшись лениво помахивать хвостом. Гуськов оглянулся теперь уже на деревню – дорога к поскотине была пуста – и решительно повернул назад.

Солнце поднялось высоко, в чистом знойном воздухе настоялась звонь, легкая и праздничная, возникающая от солнца и полнящая тишину. Едва деревня скрылась из виду, угадала и гармошка, все звуки слились в одно широкое и просторное, бесконечное русло. Пытаясь остановить себя, Гуськов на минуту задержался возле прясла, где наметил перелезть, еще раз прислушался и осмотрелся кругом и торопливо, боясь в то же время опомниться, перемахнул через низкую городьбу. Подобрал по дороге хворостину, он зашел снизу в тыл корове, она, почуяв его, повернула голову и уставилась на человека большими водянистыми глазами, настолько водянистыми и невинными, что у Гуськова навернулись слезы. Он взмахнул хворостиной, направляя корову через дыру в городьбе в гору, – она послушно пошла. Теленок – это был бычок с короткими тупыми рожками – жался к матери. Но, выйдя за поскотину, корова вдруг кинулась влево, к деревне – хорошо еще, что в березнике она не могла разбежаться и Гуськов успел ее заворотить. Она остановилась и громко, яростно замычала, бычок подмыкнул, и тогда Гуськов, встревожившись, заторопился еще больше.

Он направлял их к речке, вдоль которой утром спускался, зная, что там, в глуши, никого сегодня не встретит. Но туда-то как раз корова и не хотела идти и бросалась то вправо, то влево, чтобы оторваться от человека и поворотить назад; бычок, почуяв неладное, не отставал от нее. Корова дышала тяжело, бока ее раздувались, с губ свисала слюна. Гуськов тоже запыхался, ружье за спиной мешало, он снял его и взял в руки. Они метались по лесу, наверное, уже с полчаса, а до речки все еще было далеко.

Останавливаясь после каждой попытки обмануть друг друга, корова и человек смотрели друг на друга с ненавистью; корова затравленно мычала, на ее белых пятнах обозначались потные потеки.

Порядком намаившись, Гуськов догадался действовать иначе. Он снял с себя ремень и, оставив корову в покое, стал скрадывать бычка. Лучше бы, конечно, делать это подальше от деревни, но другого выхода не было. Бычок, однако, тоже не давался, в последний момент он взбрыкивал и отскакивал. Гуськов прыгал за ним, метя накинуть ремennую петлю на телка, и не успевал. Злость у человека перешла в ярость, он готов был взвести курок, чтобы одним разом покончить с этой затянувшейся дурацкой охотой, и только боязнь выдать себя удерживала его.

Все же ему повезло: бычка удалось наконец загнать в чащобу, и пока он тыкался между кустами, Гуськов сумел набросить свою опояску ему на шею. Бычок рухнул на колени, вскочил и запрыгал, забился, стараясь вырваться, но человек знал, как в таких случаях управляться со скотиной: он схватил его другой рукой за хвост, завернул и поволок из кустов. Бычок от обиды и страха заревел. Не давая ему опомниться, человек бегом потянул его к речке. Корова, мыча, побежала следом. Бычок теперь уже жалобно взмыкивал, из перехваченного горла вылетали хриплые сдавленные звуки, похожие на мяуканье.

Перед речкой Гуськов остановился отдохнуть, он уже не справлялся с дыханием. Он привязал телка к осинке и попробовал отогнать корову, но она не шла, она отбегала и останавливалась, а потом, едва Гуськов отходил, снова лезла к телку, обнюхивала, лизала его и подталкивала головой, будто уговаривая, пока не поздно, отрываться и бежать. Бычок под настойчивой и испуганной лаской матери, пошатываясь, постанывал; он обессилел и надорвался, надорвался памятью, понятием, чутьем – всем, что в нем было.

Отдышавшись, Гуськов опять подхватил его и потащил дальше. Он решил перебраться через речку, надеясь, что лед задержит корову. Нет, не задержал: не задумываясь ни капли, она кинулась вслед за ними на лед, ноги ее разъехались – неловко, с растянутыми на стороны передними ногами, она упала, долго возилась, поднимаясь, и не смогла – так, на коленях, поползла, – не поползла, а покатилась к другому берегу. Гуськов, не пуская, замахнулся на нее прикладом – отчаянным прыжком она бросилась вперед и вымахнула на берег.

Они были теперь от деревни верстах в трех – не меньше. На всякий случай Гуськов протянул телка еще немного в гору, выбрал место посуше, но и поупрядней, и привязал опять бычка к дереву. Корова, встав поодаль, следила за каждым движением человека. Взыграв крутой неожиданной злостью, он выхватил из-за пояса топор и кинулся с ним на корову. Шумно, заплетая прихрамывающими ногами и ломая ветки, она побежала, но только остановился он, остановилась и она. Не было никакой возможности избавиться от нее. Возвращаясь обратно, человек увидел, что теленок лежит, – он так обессилел, что не мог стоять на ногах. Испуганно повернул он к приближающемуся человеку голову – быстро и точно, с мгновенным замахом человек ударил его обухом топора по подставленному лбу, и голова, чуть хмыкнув, повалилась и повисла на ремне. В тот же миг сзади закричала корова. Совсем озверев, Гуськов пошел на нее, готовый зашибить и корову, но, видя, что она не двигается от него, остановился. Хватит с него на сегодня одного убийства – иначе можно и подавиться.

И пока он обдирал теленка, корова стояла все на том же месте, не сводя с человека глаз, заставляя и его, в свою очередь, боязливо следить за ней, и изредка, слабо, со стоном взмывала. От запаха парного, еще не потерявшего жизни мяса Гуськова стошнило. Он отрубил от туши два стегна, добавил к ним еще один кусок и затолкал в мешок, остальное, как медведь, завалил прошлогодним листом и забросал хлабьем. Перед тем как уходить, Гуськов в последний раз оглянулся на корову. Пригнув голову, она смотрела на него с прежней пристальной неподвижностью, и в ее глазах он увидел угрозу какую-то постороннюю, не коровью, ту, что могла свершиться. Гуськов заторопился уйти.

На обратном пути он ночевал в тайге напротив Каменного острова. Место это продолжало манить Гуськова с непонятной требовательной страстью; вечером, чтобы дотянуть до него, Гуськов брел из последних сил. Среди ночи он проснулся от прерывистого гула, идущего от Ангары: ломало лед. Гуськов не удивился и не обрадовался: то, что лежало в мешке, казалось, насадило и выпростало все его чувства. Он и сейчас не знал, только ли ради мяса порешил телка или в угоду чему-то еще, поселившемуся в нем с этих пор прочно и властно.

А через неделю, перебравшись уже в верхнее зимовье, Гуськов услышал однажды среди дня со стороны Атамановки частые суматошные выстрелы. Он догадался: кончилась война.

16

Кончилась война.

Из Карды прискакал нарочный и прокричал эти слова, обдав деревню долгожданным громом. И деревня взыграла.

Первым, как всегда, схватился за ружье Нестор, его поддержали поднялась пальба, какой Атамановка сроду не слыхивала; бабы, бросаясь друг к другу, закричали, заголосили, вынося на люди и счастье, и горе, и вмиг отказавшее, насадившее терпение; забегали, засновали ребятишки, оглушенные новостью, которая в них не вмещалась, была больше всего, что довелось им до сих пор испытать, с которой они не знали, что делать, куда нести. Но и взрослые тоже растерялись, простых человеческих чувств, какими они привыкли обходиться, для этого случая не хватало. Поплакав, пообнимавшись, потрясшись в первый момент, люди, словно не выдерживая счастья, ошалело и бестолково тыкались из угла в угол, расходились и снова сходились, прислушивались к чему-то, ждали чего-то, какой-то

команды. Подоспел Нестор, приказал вывешивать флаги. И хоть власти у Нестора больше не было, уж месяц, как он сдал свое председательское место Максиму Вологжину, но ему подчинились, полезли искать красное. Кто нашел, кто нет, но деревня, как могла, принарядилась, люди достали и оделись в лучшее, что хранили годами, ребятишки тут и там поднимали над воротами, над избами самодельные флаги. Агафья Сомова прикрутила к шесту сыновью красную рубаху, осиротевшую с прошлой осени, но еще добрую, не вылинявшую; Нестор, наскочив, закричал, чтоб сняла, но Агафья и не подумала послушаться, а чтоб без нее не сняли, встала у ворот на страже.

И день, хмурившийся с утра, тоже распразднился: растаяли в небе облака, и накрепло, разгорелось солнышко, осияв все под собой веселым и торжественным светом.

Настена с Василисой Премудрой пахали на ближней елани под горох, двигаясь одним гоном друг за другом, когда из деревни загрохали выстрелы. Василиса Премудрая, первой сообразив, в чем дело, кинулась выпрягать коней. Настена – за ней. Они прискакали в Атамановку в самый разгар, когда она ходила ходуном. Отпустив у ворот лошадей, разгоряченная, запыхавшаяся, Настена с ходу влетела в избу, всполошив стариков: испуганно приподнялась навстречу ей с лавки Семеновна, круто обернулся от окна Михеич растревоженные одной радостной вестью, они ждали другую. И Настена тотчас запнулась у порога: куда она так бежит, что хочет сказать им?

– Слышим; палят, – стала объяснять она и без того понятное. И натянута, слепо, словно перебившись чем-то, закончила: – Догадались.

– Гошподи! – взмолилась Семеновна и перекрестилась на образ. – Ужели вправду дождались? Теперь, поди-ка, должны шказать, где Андрюшка-то наш?

– Должны, старая, должны, – отозвался Михеич, осторожно глянув на Настену.

– Теперь вшех по домам рашпуштят... по матерям, по женам...

– Сразу всех распускать нельзя.

– Пошто нельзя?

– Пошто... Мало ли что может произойти. Без войска не положено.

– А в той войне вот так вот шпокой не объявляли, – вспомнила, помолчав, Семеновна. – Никто не знал, концилашь, не концилашь... Германца брошили, промежду шобой шхваталишь, да ишо тошней того. Так боле миру, поцитай, и не было. За коммуны билишь, за колхозы. Ни дня, однако што, не было шпокою.

Настена прошла в свою боковушку и переделалась. Душа ее, взлетев и возликовав еще на пашне, продолжала играть, просилась на люди, но что-то удерживало, наговаривало, что это не ее день, не ее победа, что она к победе никакого отношения не имеет. Самый последний человек имеет, а она нет. Не зная, куда приткнуться, Настена прилегла с краю на кровать и привычно ощупала живот, но не проникая к нему чувством, а забывчиво, потерянно просто руки нашли свое место и затихли. С улицы доносились выкрики, кто-то проскакал, наяривая коня, кто-то незнакомым мужским голосом отрывисто запел:

Мы с железным конем
Все поля обойдем
Соберем, и посеем, и вспашем.

Настена, вскочив, выглянула в окошко: неужели кто успел в этот день прийти с войны? Посреди дороги, заплетая ногами, вышагивал в окружении ребятишек чужой, неизвестный Настене, высокий сухопарый мужик в распахнутой фуфайке и с непокрытой головой. Настена услышала, как Михеич в горнице объяснял Семеновне:

– Из Карды... который известие привез. Накачали на радостях. Ему не уберегчись, нет... В кои-то веки...

– Лю-у-ди! – вдруг возопил мужик, останавливаясь и раскидывая на стороны для прочности руки. – Выходи все на де-мон-стра-рацию! Титлер капут! – Он люто выругался в лад последнему слову и, крутнув головой, точно освобождаясь от крика, закачался и запел

дальше:

Наша поступь твер-р-да,
И вр-рагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

И крик этот, песня, случайная, запоздалая для нынешнего дня, еще больше занозили и натянули Настенино сердце; горячась и болея, страдая, оно обрывисто спохватывалось, кидалось куда-то, что-то искало. Настена вышла в ограду и, высунувшись через заплот, заметила на верхнем краю улицы движение, но, чтобы не узнать, кто ходит, не стала вглядываться и воротилась обратно в избу. Она мельком вспомнила об Андрее, но вспомнила с неожиданной злостью: из-за него, из-за него не имеет она права, как все, порадоваться победе. Потом Настена подумала, что ему, когда он услышит о конце войны, станет потешней, – за себя потешней, и, тотчас опомнясь и отмякнув, но все же с досадливым, злым чувством, пожалела его и вдруг всхотела к нему, чтобы быть им вместе. Им бы сегодня и надо быть вместе: два сапога – пара, от всех людей, от их всесветного праздника, от которого лишь они двое оказались в сторонке. «Ничего не в сторонке, – обиженно отказалась она, вступаясь за себя и возвращая себя обратно к людям. – Что я – не работала всю войну, не старалась? Меньше других силушки отдала, чтоб наступил этот день? Счас возьму и пойду. Возьму и пойду», – подгоняла она себя, оставаясь сама на месте, словно дожидаясь какого-то постороннего решительного толчка, который бы поднял ее и двинул к людям.

И она действительно дождалась его. Послышался конский топот, тпруканье под окном, и все тот же неумный, гремучий Нестор, свесившись с седла, громко забарабанил в стекло и лихоматом закричал:

– Эй, кто живой, кто мертвый! Все в избу-читалку на собрание! На собрание-заседание-отмечание! Михеич! Где ты? Настена!

– Но-но, – отозвался Михеич, неторопливо подходя к окну. – Че так орешь?

– На собрание-заседание-отмечание. По случаю Победы. Срочный приказ. Что есть, чего нету – тащите с собой в избу-читалку. Складчина. Тарасун, Михеич, тащи. Не жалеи. Тарасун, говорю, тащи – понятно?

– Понятно, понятно, – заворчал Михеич. – Тарасун тебе. Боле ниче не надо? Все бы тарасунил.

Но Нестор уже не мог слышать его, он ускакал дальше.

– Ой, дикошарый, – испуганно прицокивая языком, закачала головой Семеновна. – У их, у агатовских, вше любят трезвонить, но этот шовшем дурной.

– Иди, Настена, – сказал Михеич, грустно и задумчиво улыбаясь в опущенные усы. – И тарасун есть. Иди, – вскидываясь, решительней повторил он. – Я опосля тоже загляну. Седни грешно дома сидеть. А тарасун в подполье, по правую руку за доской – доставай. Пускай празднуют. И ты попразднуй. Иди.

– Ты тарашун отдашь, а Андрюшка придет, це подавать штанешь? – вмешалась Семеновна.

– Андрюшка придет – найдем. Когда ишшо это будет? А сегодняшнего дня боле не будет. Лезь, Настена, доставай.

Это была обыкновенная самогонка, из довоенных еще богатых хлебов, но ее здесь испокон веку называли бурятским словом «тарасун». Настена знала, где он стоит: по ранней весне, отгребая картошку, она разглядела торчащую из земли, как фитиль, затычку и под ней нащупала бутылку, которую прятали не от нее, не от Настены, и не от кого-то еще, а просто прятали, чтобы до поры не попадалась на глаза и не тревожила понапрасну душу. После Настена отлила из бутылки в четушку, а четушку подсунула в мешок Андрею: все, может, на час, на другой утешит, пободрит мужика, позастит ему глаза. Чем ему больше отвлечься, куда кинуться от тоски и беды? Один и один. Недели и месяцы один. А она вот сейчас пойдет на люди. Не заслужила разве? Не может того быть, чтоб не заслужила!

Семеновна все же настояла на своем: из четверти, которая и была неполной, половину отлили в банку и спрятали, а вторую половину, чтобы не обманывать бутылью, Настена процедила в бидончик. Она вышла с ним за ворота и, приостановившись, набираясь решимости, осторожно, по-старушечьи осмотрелась в ту и другую стороны улицы.

Давно улица так не гомонила. Изба-читальня стояла посреди деревни, через три двора от Гуськовых, оттуда слышались громкие возбужденные голоса и тянуло дымом. Видя людскую суматоху, одурело носились и гавкали собаки, кричали и били крыльями петухи, наговаривали куры, визжали поросята, хлопали двери, скрипели калитки, топотила бегавшая стайками ребятня. Но поверх всего этого бестолкового шума и гама парил, звеня и переливаясь, еще какой-то отдельный особый звук – сладкий, стеклянно-чистый и ликующий, хорошо знакомый Настене, но как бы позабытый или потерянный. Она подняла глаза, отыскивая, откуда он берется, – на крыше сарая сидели в ряд три ласточки и заливались, рассыпались своей песней. Прилетели. Подгадали: не раньше и не позже, как раз сегодня. Прилетели, голубушки, вернулись на родину летовать, лепить гнезда, нести яйца, выводить птенцов. Вот и мирная жизнь возвращается в родные места, откуда ее, как былинку, сорвали, – надсаженная, покалеченная, растрепанная, но, может, действительно мирная. Не верится: отвыкли, обросли страданиями и страхом. Ласточки щебечут, славят что-то, обещая и благодарствуя, звонят свой хрустальный и нежный благовест, а той вести, поди, и не знают, что кончилась война. А может, и знают, может, нарочно летели-торопились, чтобы люди, услышав, подняли глаза и догадались: все, сегодня край страданий.

И с этого момента Настена словно тронулась душой. Ее охватила какая-то счастливая и глупая слабость, какое-то блаженное, чувствительное удивление чем ни попало, теми же ласточками, а пуще всего – желание показать, что она не хуже других и что она ничего не боится.

Перед избой-читальней стоял дом Иннокентия Ивановича, высокий и веселый пятистенник с крутой крышей, на одной половине которого жили старики Иннокентий Иванович с Домной, а вторая, отведенная для приемыша Васьки (своих ребят у них не было), уже две весны, с тех пор как подросткового Ваську забрали на фронт, пустовала. Пустовала, но не теряла жилого вида, протапливалась и знала уход: на подоконнике стояли горшки с цветами, по бокам окон виднелись занавески. Да и нельзя было понять как следует, какую половину избрали теперь старики: люди у них бывали редко, Иннокентий Иванович не привечал гостей, хотя жил крепко, имел что поесть-попить, в чем выйти на люди. Он всегда жил крепко, для такой именно жизни он и был рожден, и другая ему не подошла бы, как высокому, большому человеку не подходит одежка подростка.

Когда Настена проходила мимо, звякнула щеколда на воротах, ворота открылись, и показался Иннокентий Иванович – помолодевший и нарядный, в темно-синем френче, застегнутом на блестящие металлические пуговицы, из-под которого на шее выглядывал рисунок косоворотки, и в таких же темно-синих новых брюках, заправленных в поношенные уже, но добротные, густо смазанные дегтем и приятно пахнущие яловые сапоги. Настена обрадовалась Иннокентию Ивановичу как родному и сделала несколько шагов навстречу, улыбаясь и любуясь его бравым видом.

– Иннокентий Иванович, дождались! – крикнула она.

– Дождались, – степенно ответил он и спросил: – Нету известий от твоего?

– Нету, – хохотнула и смело заглядывая ему в глаза, ответила она. Нету, Иннокентий Иванович. Ни слова, ни полсловечка. И, подумав, добавила:

– Может, ты знаешь, где он, – скажи? Иннокентий Иванович отшатнулся.

– Я-то откуда буду знать? – изумился он. – Чудишь ты, бабонька, чего-то.

– Если что – говори, Иннокентий Иванович, не скрой, – подбавила еще она все с тем же подозрительным хохотком. – А я – тебе скажу. Не сомневайся, Иннокентий Иванович, скажу.

Во дворе избы-читальни горели огни и в двух больших котлах кипело варево. Оказалось, что Максим Вологжин, новый председатель артели, позволил по случаю Победы

заколоть колхозного барана. Бабы, расположившись на бревнах, чистили картошку. Народу толкло дивно: собралась вся деревня. В помещении составили в один ряд столы и накрывали их тем, кто что принес. А натащили по малости много: капусту, огурцы в глубоких чашках, творог и тарак в кринках, свежедобытую рыбу, тертую редьку, калачики, шаньги, яйца, полпирога с черемухой – не жалели ничего, несли последнее. Один отряд из ребятишек помельче отправили за березовым соком, чтобы было что наливать, если не хватит приношений; второй отряд, постарше, сидел на Ангаре за рыбой. Каждый пойманный ельчик, пескарь, а пуще того – хариус незамедлительно, еще живой, доставлялся на столы и прыгал на них, то заскакивая в чашки, то обрываясь на пол. Окна распахнули, на подоконнике наяврил во всю ивановскую патефон, возле него, прижимая к груди заводную ручку, стояла Надькии Лидка. Надька тоже чистила картошку. Настена подошла к ней, присела поперед на корточки и остановила Надькины руки.

– Дождались, Надька? – со слезливым, блажным смехом спросила она. Надька, не отвечая, отвела глаза. Настена нашла Лизу Вологжину и обняла ее.

– Ты че, Настена, ты че, – забормотала занятая у котлов Лиза, оборачивая к Настене красное от огня и спокойное лицо. – Радая?

– Радая.

– Ждешь своего Андрея?

– Жду.

Максима она поцеловала, обхватив его принародно руками за шею, и он, сконфуженный и довольный, закричал:

– Кто еще? Подходи, пока Лиза добрая.

– Я те дам добрая! – отозвалась Лиза полушутливо-полусердито. – Я только Настене позволила, да и то взаймы, до Андрея, а боле никому.

Настена тыкалась в людей и дрожащим, услужливым шепотом, смутно и виновато улыбаясь или хихикая, как ненормальная, говорила, не то спрашивая, не то напоминая: «Дождались?» – ничего больше она сказать не могла. Но в этот день все было кстати. Она обнимала, и обнимали ее, она показывала слезы, и ей отвечали слезами; она принималась смеяться – ее поддерживали. Она точно не помнила себя, пораженная редкой душевной болезнью, чувства ее, привыкшие к жизни простой, понятной и надорванные, задерганные лихорадочной пляской, толкающей то плакать, то смеяться, то радоваться, то замирать от жути и страха, а сегодня и вовсе растерявшиеся и загнанные, – чувства ее отказали ей, и она, обычно сдержанная и осторожная в последнее время, знающая отвечать, а не спрашивать, послушно пошла туда, куда ее повело. Впоследствии ей было неловко, что она не догадалась даже помочь бабам и села на готовенькое. Она помнила: почему-то казалось, что этот день – последний, когда она может быть вместе с людьми, завтра она останется одна, совсем одна, в какой-то беспросветной глухой пустоте.

Сели за столы. Максим Вологжин по праву – и как фронтовик, и как председатель – занял первое место. По одну руку от него устроился, конечно, Нестор, по другую – нарочный из Карды, время от времени закрывающий глаза и роняющий голову, но вздергивающий ее снова и снова. Максим, звякнув медалями, поднялся.

– Люди! – тонким, застрявшим внутри голосом начал он, и застолье замерло. – Люди! Я не мастер говорить, сейчас бы нам кого другого послушать. Да и что говорить! Что говорить, когда победили! Не придумали еще таких слов, чтоб сказать. Выстояли, выдюжили и пошли, сломали спинной хребет лютому зверю, проклятому Гитлеру. Я там был, я знаю, что там творилось. Сердце кипит... – Максим набрал полную грудь воздуха и, вздрагивая, выдохнул его. – Вы все знаете. Сейчас все мои товарищи, все, как один, бойцы, кто живой, стремятся домой, чтобы двинуть нашу жизнь дальше. Много у нас потерь. Там, где прошла война, земля поднялась от могил. Земли стало больше, а рук меньше. Что говорить?! Нам ни за что бы там не выдержать без вас, кто оставался здесь. Потому что мужик воюет, а баба кормит, мужик ненавистью на врага исходит, а баба за тыщи верст сердце его собой да семьей мягчит, чтоб не взялось то сердце камнем. Ни черта бы мы без вас не сделали, и не было бы

счас этого дня. Великая наша страна, огромная страна, а без нашей Атамановки не обойтись. И мы там воевали, и вы здесь подмотали. Поднимитесь, люди, взглянем во все глаза на сегодняшний день и на веки вечные запоем его. Не было еще такой войны, а стало быть, не было такой победы. Отметим, люди.

Застолье поднялось и, звякнув стаканами, охнув единым вздохом, в молчании село обратно. Настена потянулась чокаться с Надькой, рядом с которой сидела, но Надька успела выпить раньше всех. Была она в этот раз на удивление молчаливой, в разговоры не ввязывалась и смотрела вокруг себя пристально и как бы непонимающе, что происходит, почему нарушился порядок мучительных, но уже привычных дней. Для ее жизни, как и для любой жизни, нужен был мир, но теперь, когда он наступил, Надька с тревогой думала о том, что теперь и ясней, резче, безжалостней обозначится счастье одних и несчастье других.

Кардинский нарочный, выпив, опять затянул:

Наша поступь тверда,
И врагу никогда
Не гулять по республикам нашим.

Кто-то ласково осудил его:

– Ой, хороши-ый! Как он домой-то поедет?

– А он это... не придумал, что война-то кончилась? Такой, правда, пьяный. Мало ли что на ум взбретет...

– Я придумал?! – расслышал нарочный и стал подниматься, с трудом поднялся, и в глазах его блеснули слезы. – Я придумал? – спрашивал он, обводя всех отчаянным, умоляющим и возмущенным взглядом. – Вы че это? Вы че это?! – сильнее выкрикнул он и задохнулся, не сразу отыскал голос. – Кто посмеет, чтоб придумать! Вы думаете, об чем говорите?! Я к вам скакал... чтоб знали. От своего народа ускакал. Ну, спасибо... Да у кого зла хватит, чтоб придумать? Вы че это?!

Его кинулись успокаивать:

– Да нет, нет, не придумал... Не видно, что ли?

– Кто же, правда, на такое решится?

– Да он приехал-то тверезый. Ему, поди-ка, здесь уж на радостях подали.

– Че зря наговаривать на человека... Шутка ли – двадцать верст отмахал.

– Налейте ему, пускай выпьет, пускай простит нас, бессовестных. И верно, бессовестные какие...

И нарочный, выпив, простил, стал рассказывать, как он сам услышал о победе и как согласился ехать в Атамановку.

– А у нас-то все знают, нет? – громко спросил Максим, потому что шум нарастал.

– Все-е – как не все!

– Таковую пальбу открыли – тут мертвые и те узнали.

– А дедушка-то? – вдруг вспомнив, вскинулась Лиза. – Дедушка Степан-то? Он со вчерашнего дня на мельнице че-то ладит. Дедушка-то не знает!

– Дак от выстрелы-то, поди-ка, слышал?

– Че он слышал! Он совсем глухой.

– Ой, дедушка-то и правда все еще воюет.

– Надо послать за ним – нехорошо.

Опять завозился нарочный, порываясь ехать на мельницу, чтобы «исполнить свой долг до последнего человека – до дедушки», но его усадили, уговорили остаться. Выскочил Нестор, конь его, на котором он прыгал весь день, так нерасседанным и стоял на дворе, за ним кинулись еще двое парней. Бабы, высовываясь в окна, закричали вдогонку:

– Вы только там ему ниче не говорите. Сюда везите.

– Вяжите и везите.

– Не вздумайте вязать. Ишо помрет.

Снова уселись за столы, снова налили, на этот раз суслу, за которым бегали домой к Иннокентию Ивановичу. Сам он, как все, не понес, выждал подходящий момент и объявил, что у него есть сусло, чтоб каждый знал: Иннокентия Ивановича сусло. Но оно и верно было хорошо – тягучее, обманчиво-сладкое, хмельное. Бабы заахали, зачмокали, взялись вспоминать, как варили его до войны, какие богатые были праздники, с чьих домов начиналась гулянка.

– Нагуляемся еще, бабы, нагуляемся, – крикнул веселый, с красным лицом Максим, поддергивая раненую руку. – Где наша не пропадала! Все будет. Скоро придут мужики...

– Кому приходит-то? – негромко, но внятно, слышно для всех спросила Вера Орлова, вдовая молодая, оставшаяся с мальчишкой.

– Ну... – замялся Максим, – кто-нибудь придет...

– По моим сведениям, – поднимаясь, доложил Иннокентий Иванович, должно прийти шесть человек. Он отыскал за столом Настену. – Это с Андреем Гуськовым, котрый без вести пропавший.

– Кто да кто еще?

– Да что мы, не знаем, что? Чего спрашивать! Но Иннокентий Иванович взялся перечислять.

– А моего почему не считаешь? – заговорила вдруг Надька, когда он кончил, заговорила сразу, как сорвавшись, требовательно и зло. – Или считать дальше не умеешь, счетный работник?

– Потому что ты извещение получала. – Непросто было сбить с толку Иннокентия Ивановича, он знал, что отвечать.

– Ну и что, что получала? А ты считай. Он придет. Я говорю: он придет, – с вызовом обращаясь ко всем, накалялась Надька. – Вот увидите. Не надейтесь, что не придет. Придет и собьет твой счет. Так что считай сразу. Не шесть, а семь – так и говори.

– Тогда и мой придет, – глухо, не глядя ни на кого, сказала Вера Орлова.

– Про твоего не знаю, а мой придет. Бабы неловко заговорили:

– А что – все бывает... Он в Карде у сватьи Настасьи...

– А в Братском, сказывают, две похоронки на мужика пришло, и везде будто по-разному убитый. А он возьми и на порог... Вот и верь.

И в этот момент привезли мельника, дедушку Степана. Нестор ввел его в дверь под ружьем, с завязанными за спиной руками. Кто-то, не подумав, подсказал, а он сдуру исполнил. Дедушка споткнулся у порога и без всякого выражения окинул застолье маленькими, в густых дремучих бровях, глазами, не выказав ни удивления и ни страха – ничего, будто то, что увидел, и собирался здесь застать.

Нестор задрал голову и, обращаясь не столько к народу, сколько к портретам на стене, рявкнул:

– Неохваченный элемент по вашему приказанию доставлен. Скрывался на мельнице.

– Дурак ты, Нестор, – опомнилась первой Надька. – И как мы с таким дураком не пропали?

– Дедушка! – в десять голосов ахнули люди. К нему кинулись, развязали, подняли на руки и усадили, крича близко в уши, отталкивая и перебивая друг друга:

– Дедушка, война кончилась!

– Дедушка, миленький, где ж ты был?

– А мы тут без тебя. Забыли про тебя. Ты уж не серчай. Все с ума посходили.

– Сидим, а кого-то не хватает. Кого не хватает? Дедушки не хватает. Господи!

Он вертел большой лохматой головой и бессловесно, спокойно, показывая, что понимает и прощает, неторопливо и мудро кивал. И, глядя на него, близкие к слезам бабы разом заплакали. Только сейчас, когда последний живой человек в Атамановке узнал от них, что случилось, они наконец поверили и сами: кончилась война.

Все уже спустили лодки на воду, плавали помаленьку, а Михеич, как нарочно не торопился. Его шитик, даже и не заваренный еще, перевернутый вверх днищем, одиноко валялся на берегу. Настена извелась вся, но подгонять свекра не решалась: нельзя было показывать, что ей зачем-то нужна лодка. Но и терпеть, находиться в бездействии, не зная, как там Андрей, отсиживаться, когда открылась дорожка к мужику, она больше не могла. Ей казалось, что теперь, раз кончилась война, вот-вот должно что-то решиться в его судьбе, а значит, и в ее судьбе тоже, – поэтому надо, не медля, повидать мужика, понять, что настроен он делать, куда кинуться. За эти долгие, как годы, недели, пока они не встречались, Настена не один раз готова была на крыльях лететь к нему, чтобы успокоить его и успокоиться самой; ей мерещилось, что сейчас, когда во всю свою красоту раскрывается лето, когда вышла из земли трава и оплывают зеленую леса, а Ангара, выпроставшись ото льда, завораживает, затягивает своим движением и синью, что сейчас, когда человеческая душа, как в никакое другое время, отзывчива и ответна, Андрей может не выдержать и что-нибудь с собой сотворить. И сны ей снились тревожные, неразборчивые, не под разгад: то будто кто-то щекочет ее, кто-то неизвестный, невидимый, и она, заливаясь от смеха и ерзая на бегу, мчится со всех ног в постель, чтобы спрятаться под одеяло; то она разговаривает с коровой Майкой, и корова умно и дельно ей отвечает; то самое себя, маленькую еще, жившую под Иркутском, она, взрослая и замужняя, учит плавать в Ангаре; то что-нибудь еще. Настена просыпалась от этих снов и с бьющимся, прыгающим сердцем подолгу лежала недвижно, боясь пошевелиться и все думая и думая об Андрее, любя его горькой и заботливой любовью. Она любила его жалея и жалела любя – эти два чувства неразрывно сошлись в ней в одно. И ничего с собой Настена поделаться не могла. Она осуждала Андрея, особенно сейчас, когда кончилась война и когда казалось, что и он бы остался жив-невредим, как все те, кто выжил, но, осуждая его временами до злости, до ненависти и отчаяния, она в отчаянии же и отступала: да ведь она жена ему. А раз так, надо или полностью отказываться от него, петухом вскочив на забор: я не я и вина не моя, или идти вместе с ним до конца хоть на плаху. Недаром сказано: кому на ком жениться, тот в того и родится. Ему в тысячу раз тяжелей, он под худой, под позорной смертью ходит, да еще надумал никому, ни единому глазу не выдать себя, чтоб не оставить по себе злую славу. Виноват – кто говорит, что не виноват! – но где теперь взять ту силу, чтоб вернуть его на место, с которого он прыгнул не туда, куда полагалось прыгать. Он бы что угодно отдал за эту силу, да где она?

Нет, надо скорей повидать Андрея, узнать, что у него на уме.

Живот у Настены раздался, и когда она перед ночью оголяла его, горка была хорошо заметна. Тихонько и нежно поглаживая ее, Настена замирала, потом, чуть отдохнув на этой первой ступени, замирала еще больше, неслышно отнимаясь и возносясь куда-то, в какое-то чудесное самовидное одиночество, где в тишине и пустоте, забыв обо всем на свете, она видела и ощущала каждую свою каплю. И плод, то, что превращалось постепенно в ребенка, она тоже видела; ее чувство, прикасаясь к нему, рисовало ей все – и как он лежит, и с какой ленивой и непрерывной требовательностью тянет из нее материнские соки. Это был, как хотел Андрей, мальчонка, и он немного пугал Настену: если б девочка, была бы надежда, что пойдут еще дети, родные по отцу и матери братья и сестры, а мальчонка мог остаться единственным. Но размышляла она об этом уже после, возвращаясь из своего чуткого и обморочного проникновения в себя, когда она внимала себе словно бы со стороны и, возвращаясь, со слабой понятливостью осознала, где она есть и что с ней происходит. Она боялась того дня, когда откроется беременность, но, боясь, и хотела, чтоб он скорей наступил – тогда не придется затягиваться, прятать живот, не придется оглядываться, следить, не видит ли кто, что она не одна, что она носит в себе ребенка. Да и ожидание этого дня измучило Настену. При ее полноте не заметят еще, может, с месяц, а потом сразу ахнут. Все чаще Настене представлялось, что ее с силой затягивает в какую-то узкую горловину и будет затягивать до тех пор, пока можно дышать, а затем, придавленную, задышающуюся, полуживую, в последний момент куда-то вынесет. Вот заглянуть в эту новую жизнь ей не

удавалось, для нее она была так же темна, так же сокрыта, как замогильный покой.

Надо было что-то придумать, чтобы попасть за Ангару, и Настена пошла к бакенщику деду Матвею. Его будка стояла в полверсте от деревни, от ее верхнего края, на высоком красноярье. Дед Матвей был родной брат Иннокентию Ивановичу, но братья мало знали между собой. Иннокентия Ивановича вот величали, он ходил на виду, знал грамоту, разбирался в политике, до войны не раз выезжал из деревни, и выезжал далеко, посмотрел, что к чему, а чтобы назвать деда Матвея, старшего из братьев, по отчеству, язык ни у кого не прикладывался – до того прост, бесхитростен и обычен был дед Матвей, который дальше Карды из Атамановки не выглядывал. Жил он от колхоза самостоятельно, но в страдные дни всегда приходил колхозникам на помощь, а в особенности любил крочить горох – то, что мужики обычно не любят, и стоять на зароде, когда мечут сено.

Настена пошла к деду Матвею, вспомнив, как он вчера просил у Максима Воложнина напарника на день, чтобы отвезти и поставить на воду, на летнюю службу, бакены.

– Силенки нонче совсем не стало-ка, – объяснил он. – Не справлюсь один. А без спросу сманивать кого вроде нехорошо. У вас посевная. А я бы в покос, даст бог поправу, отробил бы. За мной не пропадет.

Настена пропустила мимо ушей этот разговор, а теперь спохватилась: вот и надо было вызваться к деду Матвею, там, глядишь, что-нибудь придумалось бы. И как она сразу не дотумкала? Не умея плавать, Настена, правда, боялась работы на воде, но как-нибудь один день, наверно, перемогла, перетерпела бы свой страх. Того ли ей сейчас следует бояться?

Она подходила к будке повечеру, когда солнце уже спускалось за Ангару, точно в тот западающий на горизонте прогал, где лежало Андреевское. Полреки было покрыто тенью, светлой еще и легкой, но течение там казалось много сильнее и туже, чем на освещенной половине. А на солнце вода ярко, слепя глаза, играла блестками, словно отвлекаясь, кружась и задерживаясь в движении. Часто и весело, с каким-то своим восторгом плавила рыба – от самой маленькой, отчаянно выскакивающей в воздух, разогнавшись, подряд по нескольку раз и смыкающей за собой круги в кружевную лестницу, до большой, взрывающей где-то вдаль воду изнутри с солидным и довольным чмокающим звуком. Под ярмом лежал еще лед – колючий, дырявый и грязный, от него, пробив в песке и камнях дорожки, струились ручейки. По берегу носились суетливые, быстрые и вертлявые, с длинными острыми хвостами птички, которых там, где росла Настена, называют трясогузками, а здесь – плишками. Также и мелочь рыбная, табунящаяся под берегом, там – мальки, а здесь – омулявки, как бы в честь омуля, знаменитой байкальской рыбы, в Ангаре, однако, не живущей. Омулявки эти, заслышав Настенины шаги, шумно взбурливая воду, бросались в глубину, делали полукруг и снова, пропустив человека и чуть сплавившись по течению, подтягивались к берегу. Со свистом проносились над головой Настены стрижи, остро пахло, забывая дыхание, сыростью; лениво чавкала слабая, изнутри себя берущаяся волна, потому что в воздухе было тихо, сморенно; издали, с верхнего мыса Покосного острова, доносился шум воды. Тень наступала, ее движение видно стало глазом, и, едва зашло солнце, протянул, словно закрывая день, и опять затих ветерок. Теперь уж вся Ангара от берега и до берега побежала быстрее; Настена с детства верила, что в темноте течение сильнее, торопливей, чем на свету.

Дед Матвей возился у лодок, у него, как у бакенщика, было четыре лодки, и все их смастерил он сам. На каменишнике стояли приготовленные для сплава, сияющие свежей краской бакены – три красных и два белых. Настена опустилась по вырубленным в земле и обшитым деревом, как лестница, ступенькам вниз и поздоровалась с дедом Матвеем, с особым интересом посматривая на бакены.

– Ну что, дедушка, – сразу спросила она, – кого тебе Максим на помощь дал?

– Дак кого дал... – Дед неторопливо всполоснул в воде руки, отер их о штанины и выбрался из лодки. – Максим, паря, хитрый. Кого, мол, уговоришь, того бери, а я, мол, на эту работу назначать не имею-ка права. – Дед закряхтел, наклоняясь и что-то отыскивая под ногами. – Фитиль, паря, где-то-ка посеял, – объяснил он. – Погляди, у тебя глаза острые. А их, широких-то фитилей, боле нету-ка, их нигде не взять. Ить только в руках держал – куды

от он запрыгнул? – Фитиль нашелся в лодке, под сиденьем. Дед спрятал его в карман. – Мне бы только два подсобить, а те я сам поставлю. А два без напарника не взять. Один он под островом, тама-ка вода не дай бог дурная, не устоять будет. А другой, тоже-ка белый, напротив релки за деревней, где голомыска. Дак ты должна помнить, где они в прошлом годе стояли. А красные я один потихоньку отведу. Идти от надо-ка, поманить кого, а то катер не седни-завтра с проверкой придет. Неохота-ка, чтоб хуже всех было.

– А возьми меня, дедушка. Как сумею, помогу, – сказала Настена, оглядываясь опять на бакены и уже со страхом отличая белые, самые трудные.

– Но, – осторожно отозвался дед и помолчал, не зная, верить, не верить Настене. – Почему-ка не взять, коль не шутикуешь. Кого ишо брать? Ты правду поплывешь?

– Правда, дедушка. Только дай мне потом вечером ненадолго лодку. Хочу талины на острове нарезать. А наша по сию пору на суху.

– Дак талины я тебе подсоблю нарезать – эко дело!

– Нет, нет, дедушка, – испугалась Настена. – Я сама. Не торопись. – И чтоб он не заметил ее страха, добавила: – Ну, там видно будет...

– Как хошь. А то подсоблю, это нехитрое дело. Откулева тебя, девка, бог послал? – Дед Матвей прищурил от неожиданной удачи белесые, в белесых же, выцветших бровях и ресницах, глаза и удовлетворенно засопел. – А я тужу: к кому идти кланяться? У всякого своя работа. Но раз поедем, давай поедем поране. Не доспи маленько. Придешь, не омманешь?

– Приду, приду, дедушка. К солнцу прибегу, даже раньше. Только ты не говори Максиму, что я сама напросилась. Скажи, уговорил. А мне неохота завтра опять на эту пахоту, уж надоело – все отдохну немножко.

– А, ну-ну. Это конешное дело. Скажу, как велишь.

И весь день Настена провела на реке. Снарядились чуть свет, по холодной еще свежести и глухой, сонной тишине, в которой слышался только все тот же дальний шум воды на перекате да едва различимый шелест течения. Ангара казалась темной и густой, у берегов стояла мелкая рябь, между нею широкой серединой, маслянисто отсвечивая, протаскивало воду. Поплыли в большой, как баркас, устойчивой лодке, которая требовала, однако, силы и силы, чтобы двигать ее и тащить сзади тяжелый, неуклюжий бакен. Сначала затянулись на бечеве вверх, потом Настена села за лопашны, а дед Матвей в корме за одноручное весло. Отвернули от берега, и с этих пор Настена старалась на воду не смотреть, уставившись глазами себе под ноги и боясь думать о том, что скоро придется подниматься в лодке в рост и что-то делать, как-то помогать деду Матвею.

С этим, первым, бакеном помаялись порядочно. Перегребая, промахнулись и оказались ниже, чем надо, а все попытки хоть немного подняться против течения посреди реки ни к чему не привели. Да и смешно было на это надеяться. Вода тут неслась мощным, туго натянутым гудящим потоком, перехлестывая брызги через борт. Выругав себя за дурость, дед Матвей сдался. Погребли к берегу, теперь уже левому, который был ближе и на который Настена больше всего и стремилась попасть – да не так, не с бакеном, не с дедом. И все же, когда подплыли, до того захотелось придумать что-нибудь и остаться, уговорить деда Матвея приехать за ней под вечер – тогда бы и установили они этот проклятый бакен. Но она знала: нельзя. Отдохнув, потянулись опять вверх, на этот раз зашли с запасом, поплыли обратно и загодя сбросили камень-держак, так что пришлось поддегивать его, чтобы снесло. Вся работа Настены состояла в том, чтобы грести, держать по команде деда лодку. Установив как надо бакен, дед Матвей облегченно вздохнул и закурил.

– Этот-ка самый чиждоль, – признался он. – Я и зажигать, и гасить его поперед всех плыву. Ишь какая нехорошая, буянистая вода. Он как прет, никакого удержу.

И действительно, второй бакен поставили легче. Настена соглашалась и на третий, время еще было, но дед, отказав, отпустил ее.

– Хватит. Уговор был на два, – весело, и без того довольный сделанным, говорил он. – А об тех у меня заботы-ка нету. Я их завтра потихоньку один сплавлю. Езжай куда надо,

покуль день не ушел. Пособить тебе, нет?

– Я сама, дедушка.

– Ну, как хошь.

Он давал ей легкий, быстрый шитик, но Настена осталась в той же лодке: она к ней за день привыкла и боялась уже меньше. А в вертлявом, послушном любой волне и любому ветерку шитике было страшновато: вдруг поднимется низовка или еще какая беда – все, пропала. Тише едешь – дальше будешь. Человек в постели, на ходу ли, случайной, поспевшей ли смертью, но должен умирать непременно на земле, когда под ногами привычная твердь, а в легкие просится воздух. Настене только однажды, еще задолго до войны, пришлось видеть утопленника, и до сих пор при одном воспоминании о нем ее пробирала жуть.

Она высадила деда у будки и, отказавшись чаевничать, сразу взяла через Ангару. Теперь, когда она осталась одна и когда встреча с Андреем, которой она всякими правдами и неправдами добивалась (а какими правдами? – только неправдами!), когда встреча эта после двух почти месяцев розной жизни была наконец близка, Настену охватило раздумчивое, осторожное желание оттянуть ее, оставить все, как есть. Что она сейчас скажет Андрею? Кончилась война, пришел в деревню еще один фронтовик, прежний партизан Лука Смолин, пожилой уже, молчаливый мужик, взятый поначалу в конницу и прослуживший всю войну при конях же – возницей. Михеич три дня назад заставил ее, Настену, написать в розыск, спрашивая о судьбе Андрея, и сам отдал письмо почтальону. Семеновна ходит лучше, уже и без костылей, – тепло, что ли, помогло? Хорошо, конечно, что ходит, но Настена готова была заподозрить в этом какой-то особый, недобрый для себя знак. Что еще? Живот... Это он увидит сам. Да, и недавно осмелилась-таки, продала Иннокентию Ивановичу часы, и ясное дело, продешевила, а что дал Иннокентий Иванович, внесла за облигации: наступил срок платежа и деваться было некуда.

А что скажет ей он? Что ему сказать? Посмотрит она на него и поймет все без слов: и каково ему пришлось, пока не виделись, и что держит он на уме. Долго так теперь продолжаться не может, надо что-то решать, куда-то приклоняться. А что, куда?... Близок, близок суд – людской ли, господень, свой ли? – но близок. Ничего в этом свете даром не дается.

Солнце стояло еще высоко, но на воде было свежо, с севера потягивал ветерок. Настену всегда удивляло, как ветер летом может идти встречь течению, – казалось, что река своим широким и могучим движением должна двигать за собой и воздух.

Она гребла неторопливо, тяжелые лопашны за день все же с непривычки показывали себя: руки гудели, спина в одних и тех же беспрестанных движениях отерпла и пронзалась мурашками. В ушах приятно звучало шуршание разрываемой глади – мягкое, мелодичное, со звоном крошечных гибнущих колокольчиков. Второй звук, тяжелый и скрипуче-надсадный звук отодвигаемой лопашнами воды, исходил от работы. На середине реки, как на воздушных, видно было далеко и охватно, и все качалось, сплывало – избы, лес, небо, пашня на горе, берег, во всем чудилась ненадежность, подо всем – размытость и хлябь. Высоко в небе над Ангарой маленькой точкой парил, что-то высматривая и надумывая, ястреб, и Настена впервые в жизни невесть с чего пожалела эту вредную птицу: тоже не сладко дается ей хлеб. Настене вообще в последнее время казалось, что никого осуждать она не имеет права – ни человека, ни зверя, ни птицу, что всякий живет своей, но не зависящей от него, подневольной жизнью, изменить которую он не в силах.

Она ухватила за нижний край острова, по другой, закрытой для деревни стороне затолкалась опять вверх и приткнула там лодку к берегу. Теперь осталось переправиться только через протоку – втрое меньше того, что выгребла. Но остановилась она не от усталости. На нее навалилась другая, душевная слабость. Настена чувствовала в себе путаницу, неразбериху, в которой сошлись вместе и радость, оттого что она увидит сейчас Андрея, и страх перед этой встречей, страх заглянуть туда, что покуда сокрыто тьмой. Надо было привести душу в порядок, настроить на один лад и уж тогда двигаться дальше. Настена

сидела, смотрела бессмысленно в воду и улыбалась нарочитой, сделанной и направленной внутрь себя улыбкой, по которой могло бы густо, как масло, потечь успокоение. Но оно не натекало, не наступало, и беспокойство не проходило. Настена сидела уже не с улыбкой, а с гримасой на лице и вспоминала, как она продавала Иннокентию Ивановичу часы. Уж что-что, а это воспоминание утешить ее не могло.

Иннокентий Иванович долго вертел часы в руках, прикладывал их к уху, подносил к глазам, остро, пытливо взглядывая на Настену.

Видно было, что часы ему нравятся, но больше желания заполучить их Иннокентия Ивановича терзало желание узнать подноготную часов, выяснить, как, через чьи руки они сюда залетели. Он и к глазам подносил их, чтобы рассмотреть, не осталось ли на них каких-нибудь следов – надписи или знака, которые бы что-то указали и прояснили. Но нет, ничего не осталось. Подождав, спрятав свое нетерпение, поманежив еще себя и Настену, он наконец как бы между прочим спросил:

– Откуль они у тебя? Андрей, что ли, послал? Ответ у Настены был приготовлен, и она, так же играя в прятки с Иннокентием Ивановичем, сказала:

– Какой Андрей... Для него же, для Андрея, покупала в прошлом году в Карде. А теперь вот приходится продавать. За облигации нечем рассчитываться. Придет – сам наживет. Уж десять раз покаялась, что взяла.

– За сколь купила-то?

– За две тыщи.

Говорить ему, как Михеичу, что она будто обменяла часы на ружье, Настена боялась: этому только покажи кончик, он вытащит всю нитку.

– Ну, у меня таких денег нету, – покачал головой Иннокентий Иванович. Ишь, а все прикидываетесь беденькими. Две тыщи р-раз! – и достала, отдала, как два рубля. Это кто же в Карде продал их тебе?

– Я толком и сама не знаю. Какой-то военный вроде, в шинелке был. Поглянулись они мне сильно, я и схватилась, кофту, шаль продала, насбирала, – врала напропалую Настена и бесстрашно смотрела в лицо Иннокентию Ивановичу. – Счас-то разве стала бы покупать?

– Двух тыщ у меня нету. Я не такой богач, как ты, – примеривался и прикидывался Иннокентий Иванович, все так же пристально наблюдая за Настеной. – Тыщу с грехом пополам, может, наскреб бы, а больше нету.

Она, подумав, вздохнула:

– Ну, тогда хошь за тыщу. Кому я их еще тут продам? А в Карду ехать день, а то все два терять надо. Счас не до того.

Тысячу Иннокентий Иванович отсчитал, но не поверил он Настене, видела она, что не поверил. Не надо бы к нему ходить, но больше действительно идти было не к кому: в Атамановке только у него водились деньги. А кроме того, что-то тянуло Настену, помимо ее воли тянуло пойти именно к нему. Уж больно он любит нюхать чужие следы, знать о чем ни попало больше и раньше всех так на, нюхай, сама подаю кусок, который пахнет жареным-вареным. Верти своим длинным носом сколько влезет, скоро еще один кусок поднесу – не боюсь. А бояться-то следовало: не ангел. Нет, что ни сделаешь, все не так.

18

Настена помнила, что Андрей должен теперь находиться в верхнем зимовье, но не знала, что делать с лодкой: или спускаться и прятать ее в речке, или оставить напротив острова под берегом – с той стороны не увидать, а на этой, если кто появится, все равно не скрыть. Так что лучше и не прятать. Мало ли для чего потребовалось ей за Ангару! Нарезать вот талины свекру на плетенье, а тальники здесь самые богатые. Михеич же как-то обмолвился, что неплохо бы сплавать на остров за прутьями – правда, на остров, не дальше, но это почти одно и то же. Михеичу она скажет, что нарезала на острове, он удивится, а возразить нечем: и верно, сам подсказал, а она услужила. Да и что ему возражать, если

сделала доброе дело – везде ей чудятся недоверие, подгляд, даже там, где их нет.

Но на этот раз подгляд, оказывается, был. Едва Настена, переплыв, вытащила нос лодки на сухое и, вскользь осмотревшись вокруг, стала подниматься на невысокий берег, из кустов, густо нависших над водой справа, вышел человек. Настена не заметила, как он вышел, она услышала лишь шуршание гальки сзади и, испуганно обернувшись, увидела его, склонившегося над лодкой и сильными рывками подвигавшего ее на каменишник. Настена вскрикнула.

– Что же ты ее так оставляешь? Унесет, – сказал он и, пригибаясь, пошел к ней.

Это был Андрей. Настена кинулась к нему с оборвавшимся от испуга и радости сердцем, вздрагивая крупной дрожью и прихивая, но он не дал себя обнять, а повел скорей за кусты, где их не видно было с Ангары, и там обнял сам, крепко сжав в руках, тяжело дыша и заглядывая в лицо.

– А я знал, что ты сегодня будешь, с утра знал, – шурясь оттого, что так близко видит ее, бормотал он быстрыми выдыхами. – Услышал утром голоса на протоке и узнал тебя. Догадался, что приплывешь. И весь день караулил. Потом вижу: гребешь.

Он прижал ее к себе еще крепче.

– Тише ты, медведь, – оттолкнулась она и выпятила живот. – Раздавишь. Не видишь, что ли?

– Есть? – пьянея уже этой радостью, коротко спросил он.

– Каши, думаешь, наелась?

Он неумело, отвыкнув, с отрывистым гулом засмеялся и осторожно, проверяя упругость живота, ощупал его широкой, разлапистой ладонью. Настене было приятно это прикосновение, она глубоко и ласково вздохнула.

– Ниче еще непонятно, – сказал он.

– Ну уж, непонятно...

Она взяла его ладонь и приставила туда, где начинал бугриться, уже чем-то упираясь, ребенок.

– Понятно?

– Вроде че-то есть.

– Вроде... Сам ты вроде. Еще как есть. Я уж знаю: это парнишка.

– Знаю, – хмыкнул он. – Откуда ты знаешь?

– Спорим на девчонку, что парнишка?

– Роди сперва этого.

– Рожу. Че ж не родить? Еще не бывало такого, чтоб там оставался. Настену самое же и распотешили эти слова, она рассмеялась.

Но, взглядевшись как следует в Андрея, она остыла, и все ее счастливое возбуждение от неожиданно скорой, раньше назначенного времени встречи с ним стало меркнуть. Лицо его сильно заострилось и высохло, даже сквозь бороду видно было, как обвисли на нем щеки. Глаза застыли и смотрели из глубины с пристальной мукой. Борода казалась уже и не черной, а грязно-пегой, завитки на ней делали ее и того более неряшливой. Голову он держал, подав вперед, словно постоянно всматриваясь или вслушиваясь во что-то перед собой, – так оно скорей всего и было. Волосы на голове он недавно подбирал и остриг на ощупь, они висели неровными лохмами. Глаза, больше всего Настену напугали глаза: так они изменились с последней встречи, настолько зашлись тоской и потеряли всякое выражение, кроме внимания...

Андрей заметил, с каким страданием она смотрит на него, и дернулся:

– Не нравлюсь, что ли?

– Андрей... – Настена ткнулась ему лицом в грудь, чтобы не отвечать, и оттуда, от груди, зашептала удушливо то, что считала самым важным: – Андрей, ты не знаешь еще: кончилась война.

– Знаю, – спокойно сказал он.

Настена отшатнулась от него:

– Как знаешь? Кто сказал?

– Слышал ваш салют.

– А-а, стреляли... ага.

– У меня теперь глаза и уши такие стали... дале-о-ко вижу и слышу. – То ли он отводил разговор, то ли действительно решил похвалиться. – Самому себе завидно. Утром вы еще по большой Ангаре греблись, а я уж знал: плывут. И вон откуда, с горы, от зимовья, услышал. А как на протоку вышли, и тебя определил.

– А я тебе ничего почти и не смогла привезти, – медленно и отчужденно, думая о другом, сказала Настена. – Так, хлеба маленько да яичек. Боялась, чтоб не заметили.

– Мне и не надо. Теперь проживу, тайга накормит. Мне только сетку надо, Настена. Мошка вот-вот загудит. Заест она меня без сетки.

– Сетку... И правда, как я забыла про сетку?

– Привезешь в другой раз.

– Привезу...

Она стала думать о том, где взять сетку. Его, Андрея, старую из конского волоса, давно истрепали, а лишней в доме не было. Надо где-то найти: мошка хуже лютого зверя, а здесь он, мужик, один, вся мошка кинется на него.

Они все еще стояли, топчась друг возле друга, рядом с молоденькими, одного с ними роста, распускающимися березками. Листочки на них уже распрямились из трубочек, но были маленькие, бледные под солнцем, с глубокими бороздками.

В просветах между березками виднелась Ангара. Деревню скрывал остров; солнце, склоняясь, било туда косым упором. Берег здесь был широкий и красивый – в черемухе, в березе, раскиданными там и сям по луговине, чуть заметно покатым к воде и молчаливым, словно затаившийся или необжитый. В траве хлопотали какие-то маленькие, но безголосые птички с полосатыми, как у бурундуков, спинками и высокими головками. Лишь издали, но с этого же берега, давно и нудно напрашивалась на гадание кукушка. Настену еще на реке подмывало погадать, побоялась, теперь бы уж насчитала лет с двести – живи не хочу.

– Ну, в зимовье пойдем, нет? – спросил, оглядываясь почему-то, Андрей.

– Далеко, поди, – замялась Настена. – Лодку брошу... не угнал бы кто.

– Кому здесь...

Настена спустилась к лодке и взяла в носу узелок с едой. Но в зимовье они все же не пошли; подыскали место, где устроиться, наткнулись они на глухую круглую полянку, перечерченную пополам белой и твердой, как кость, колодиной, на которой и уселись. Настена подала Андрею узелок; Андрей, глядя куда-то вдаль, неторопливо развязал его, но, увидав хлеб, не смог сдержать нетерпения и впился в него зубами. Настена старалась не смотреть, с какой жадностью он ест, и сползла с колодины на землю, удобно вытянув задеревеневшие в лодке ноги, но нет-нет да поднимала голову и украдкой косилась на Андрея, удивляясь, поражаясь уже и не ему, и не голоду его, а тому, что этот оборванный, запущенный мужик, выколупывающий сейчас из бороды хлебные крошки, и есть тот, о ком она не спала ночей и к кому стремилась из всех своих сил. Господи, как же чувства человеческие капризны и смутливы! До чего они требовательны и изменчивы! К нему ли, к этому ли человеку, она плыла, о нем ли страдала, он ли получил над ней страшную и желанную власть? Не верится. Но Настена остановила себя: а не так ли и он спрашивал, впервые увидев ее после фронта: к кому бежал? ради кого наломал дров? А ему ведь было не Ангару переплыть – почище. И тоскливо, безысходно сжалось сердце: ничего не знает о себе человек. И сам себе он не верит, и сам себя боится.

А кукушка, не меняя голоса, все куковала и куковала, наговаривая – кому столько? – деревьям, реке, камням. Шумела пред островом вода; под низким боковым солнцем блестела в деревьях ранняя паутина. От наливающейся зелени плыл и туманился зеленой же поволокой взгляд, дыхание холодило влажными тягучими запахами. Сверху на полянку оборвалась бабочка и долго не могла вылететь, тычась в плотный кустарник. Но вид на Ангару сквозь ветки оставался, в нем торчала даже корма лодки под берегом, и Настена

часто взглядывала туда, боясь не столько за лодку – вообще чего-то боясь, чего-то с неотвратимостью ожидая.

Андрей поел, и, чтобы разговор не ушел в сторону, Настена сразу спросила:

– Кончилась война – что теперь-то с нами будет, а, Андрей?

– Не знаю, – пожал он плечами, и Настене стало не по себе, ей показалось, что он чересчур спокойно сказал «не знаю», что он и не хочет ничего знать.

– А кто за нас будет знать? Что-то надо делать, Андрей.

– Что ты хочешь, чтоб я делал?

– Почему же я хочу... Не я... Но... ничего не делать, или как? Ты скажи.

Он обернулся к ней и, помолчав еще, подобрав первые слова, твердо ответил:

– Что делать? Тебе – рожать, вот что делать. Умри, но роди: в этом вся наша жизнь. Делай что хошь, но знай, что тебе надо родить. К этому и готовься. – Он начал твердо, даже жестко, но голос его сорвался; голос его вообще, Настена заметила, часто ломался, то становясь некстати суровым, то тут же рядом жалобным, чуть не плачущим – или от постоянного молчания, от одиночества, или от чего-то еще. Андрей откашлялся и продолжал: – А мне? Что мне делать? Ты, поди, не один раз подумала: ни черта бы там со мной не доспелось. Не отказывайся, я знаю. Я сам так думаю. Оно теперь, когда война кончилась, дивля так думать. Может, правда, ни черта бы не доспелось. Выжил бы, пришел. – Он наклонился к Настене, вплотную приблизив лицо и пуше обычного прищурился, спрятав глаза, и зашептал жутким, хриплым и сдавленным шепотом: – А если доспелось бы и я счас бы тут с тобой не сидел? Никто не знает. А я сижу. И ты не спрашивай, не толкай меня делать. Сделать я могу только одно. – Он выпрямился и качнул рукой вниз. – Погоди, не перебивай. Я знаю, я верю тебе. Я тогда как сказал: до лета. Вот оно и лето прикатилось. Давно ли ты ко мне по заметели бежала, а сегодня уж по воде. Пропасть, Настена, не штука, все равно от этого никуда не деться. Я за эти четыре месяца здесь прожил все сорок годов. Да тридцать своих. Пропасть, я говорю, не штука, но я должен знать, что не зазря пропадаю. Мне верить охота, что я еще пригожусь тебе, что ты прибежишь сюда не для меня, а для себя. Чтoб полегче тебе стало.

– А я и счас не знаю, для кого прибежала, – призналась она.

– На все плюнь, обо всем забудь – рожай. Ребенок – все наше спасенье. Ты тоже в этом деле моем немаленько заляпана. А ты совестливая, тебе неспокойно. Родишь – будет легче. Ребенок спасет тебя ото зла. Да разве есть во всем белом свете такая вина, чтоб не покрылась им, нашим ребенком. Нету такой вины, Настена. Так и знай. Я ждал тебя, каждый час ждал, чтоб сказать: готовься. Возьми сердце в камень, завяжись в узелок, зажми уши и не слушай, что на тебя понесут. Я знаю: тебе придется ходить по раскаленным углям... вытерпи, Настена. Но чтоб ему не повредило. А станет невмочь – прибегай. Прибегай. Я тебя буду ждать. Я для тебя и буду жить, больше мне тут делать нечего. А станут совсем донимать тебя – всех порешу, всех пожгу, родную мать не пожалею...

Судорожно, уставив безумные глаза на ту сторону Ангары, он втянул голову в плечи.

– Андрей! Андрей! – испугалась Настена.

Он невидяще глянул на нее и, отходя, освобождаясь от припадка тихой удушливой ярости, надолго умолк. Настена тоже не знала, что говорить. Какой-то словно чужой, издевательской мыслью она вдруг вспомнила, что ей нечем резать прутья, за которыми приплыла: не взяла с собой ни ножа, ни топора. Нет, в каждом из них с руками-ногами на одного сидит все же не один человек – несколько: вот и тянут его в разные стороны, разрывают на части, покуда не сведут в могилу. А он-то, бедный, еще говорит, что чужая душа потемки, будто хоть немножко знает свою.

Земля под Настеной стала холодить, и Настена приподнялась, села на колодину. Андрей подвинулся к ней ближе, но не обнял, как она насторожилась, а закачался маятно вперед-назад. Солнце уже ушло с полянки, отодвинулось к реке. В корме лодки прыгала, дергая хвостиком, плишка – взлетела, скрылась и тут же появилась опять, быстрыми поклонами заглядывая в воду. На востоке, где всходить солнцу, появились белые легкие

полосы туч, и Настена затревожилась, не сменилась бы погода.

– Может, схожу на Лену, – неожиданно сказал Андрей.

– На Лену? – удивилась Настена. – Зачем?

– У меня там был дружок, вместе воевали. Коля Тихонов. – Он поперхнулся, словно в горле сдавило что, и повторил: – Коля Тихонов. Мы, правда что, в разных находились взводах: я в первом, он в третьем. А взводы в разведку по очереди ходили. Мы нечасто и видались. А чуть подфартит – все вместе. Он холостой еще был... хороший бы мужик вышел. Добрый, простой. И умелый – все мог. Последнюю рубаху с себя скинет, а там – последнюю пайку отдаст. На щеке шрам, да так к месту – вроде ямочка. В драке вилами в малолетстве проткнули.

И вот мы с ним уговорились: кого убьет, другой чтоб приехал и рассказал. Он с Лены, а я с Ангара – земляки, далеко ехать не надо. Он чудной маленько был. А как, говорю, обоих убьет? Обоих, говорит, не убьет, для этого надо, чтоб Ангара и Лена в одну воду сошлись. – Андрей коротко хмыкнул и длинно, протяжно вздохнул. – Я ему свою грамоту показал: мол, они и так сходятся в одну воду – там в море. А море, отвечает, это смерть. Они живут, пока по своему руслу текут, а море – смерть. После смерти и мы сойдемся. Приходим мы под утро с «поиска», а мне говорят: Колю убитого принесли. Может, схожу, расскажу, – не прерываясь, продолжал он. – Я знаю, помню, где похоронен, сам хоронил. Уговор надо бы выполнить.

– Как же ты пойдешь? – осторожно спросила Настена.

– Прикинусь, что издалека. Деревушка у него махонькая. Посижу, поговорю и обратно. Как хоронили, не плакал, там это не заведено. А недавно вспомнил, и слезы потекли. Я ж не бесчувственный, Настена. А лучше бы бесчувственный легче. Думаешь, думаешь до одури, а мысли все колючие... Жалят, жалят... Думаю: если пойти, сдаться – получай, что заслужил: и чем больше, тем лучше. Заслужил – прими. Чем на себя руки поднимать – пускай закроют, кому велено, это дело со мной, заткнут моей смертью. И им спокойней, и мне тоже. Настена замерла, стараясь не пропустить ни слова, но он поднял голову и решительно, широкими взмахами покачал головой: – Нет, не пойду. Не за себя боюсь – мне бы, может, это в радость было: встать под расстрел. Там хоть зарюют, а здесь и спрятать некому. Не хочу вас марать. А если узнают, что родила от меня, – съедят тебя. Я-то ладно, с меня спрос особый, а тебе за что? И родишь ты – на ребенка слава упадет, век ему маяться с ней. Нет, не пойду. Ты говоришь: что делать? Я, что ли, не пытаю себя: что делать? Погодим – должно разъяснить. Может, правда, на Лену схожу. А может, побоюсь, не пойду. Мне страшно, Настена, далеко от тебя отрываться, я только возле тебя и дышу. Утром просыпаюсь и думаю: что счас Настена – поднялась или нет? Днем брожу и думаю: где счас Настена? Какими словами она меня поминает? И говорю: терпи, Настена, терпи. И молчи. Не дай бог тебе кому сказать. Ты уж и не жена мне – с женой дома живут, ты для меня весь белый свет, все на тебе сошлось-съехалось. Не разомкнуть.

– Не говори так, Андрей, зачем ты? – Она прижалась к нему, и неловкой, тревожной радостью, как у человека, который, заблудившись, не знает, какая на небе заря – вечерняя или утренняя, – занялось сердце.

– Я намолчался, мне охота поговорить. Помнишь, на ильин день косили мы с тобой за речкой, в кочках? Показалось, на своем покосе мало, пошли туда. Жарко, пауты донимают, размахнуться литовкой нельзя, ровного места нету. А хуже всего – не знаем, надо косить, не надо. Вроде праздник. Люди гулять не гуляют, но и не работают. И гром, как водится в ильин день, вот-вот рявкнет. Помнишь?

– Помню, как не помню? Это в последнее лето перед войной было. Ты в то лето со счетоводов ушел, Иннокентий Иванович на твое место заступил.

– Ага. Ходим и злимся друг на дружку. А из-за чего, из-за какой холеры злимся, и сами не знаем. Погляжу на тебя и думаю: что бы такое сказать, чтоб заплакала, а я бы тогда добавил, отвел душеньку. И ты, вижу, косишься, губы поджала. А что бы, кажется, догадаться: давай бросим, ну ее к лешему, работу эту, и пойдём в деревню. Нет, затаились,

пыхтим и молчим. И вдруг заместо грозы откуда ни возьмись дождик, да такой ласковый, теплый. Не из чего, тучки-то на небе не было ни одной. Это уж потом опустилась пасмурь, а до того чисто, как стеклышко. Мы с тобой остановились и друг на дружку посмотрели. Помнишь? И так хорошо, так радостно стало, что дождик, что мы с тобой одни и что не успели поругаться. И будто другие люди тут до нас были, а мы только что встретились. И не у одного, у обоих сразу такая перемена. Что вот, что было? Неужто из-за дождика все, из-за того, что работать не надо?

– Потом пошли на горох...

– На горох пошли поздней. Бросили литовки – и друг к дружке. И дождик-то какой-то не мокрый был, летит и на лету тает. Вроде как дымный или святой какой. Может, правда, это он нас заморозил. А на горох ты позвала, я тогда куда хошь бы пошел за тобой. Вот ведь что вспомнилось...

– А это мы сидим сейчас, Андрей? Или те, другие, которые косили?

Он, склонив голову набок, задумался дальней, тяжелой мыслью.

– Не знаю. Не те и не другие, наверно, а третьи. Была война... все было. Нет, – встрепенулся вдруг он. – Это мы, мы, Настена. Сейчас это мы. Иначе я бы не вспомнил. Это мы. Это не пропало совсем. Не одно плохое у нас было, было и хорошее – правда же, было?

– Зачем же помнить плохое?

– Все надо помнить, Настена. Все надо помнить, но плохое, как срамное место, без нужды показывать не надо.

– А помнишь?...

И она, замороженная и вознесенная воспоминаниями, близко и чудесно коснувшимися сердца, не замечала уже ничего: и что он оборван, запущен, не чист – это был ее Андрей, родной человек, с которым она знала жизнь единственную и радостную. Столько, оказывается, в ней было счастья! И очнулась Настена, когда солнце перед заходом полосой поднималось на той стороне в леса, воздух погустел, потемнела и остыла зелень. Перед глазами Настены подрагивала непонятно откуда взявшаяся лиственничная ветка, на которой из корявых и некрасивых, как бородавки, почек выбивались аккуратные хвойные метелки. Рядом, устало посапывая, сидел Андрей. Очнулась она и испугалась:

– Господи, да ведь мне нельзя без прутьев домой показываться! У тебя хоть ножик с собой?

– С собой.

– Пойдем скорей.

Она пропустила мимо ушей и только после догадалась, почему он спросил, провозжая ее:

– Скажи, Настена, как я появился здесь, никого из деревни не убило? Не было похоронок?

– Как ты появился?

– Ага.

– Кажется, нет. Нет, не было. Последний был Володя Сомов. Осенью еще.

– Ну-ну.

Он искал себе вину поменьше. И она задумалась: зачем, для чего? Для себя только или он прикидывал что-то другое?

Через несколько дней Настена приплыла снова, на этот раз в своем шитике, который Михеич наконец скатил на воду. С утра зарядил дождь, мелкий, но злой, холодный, и работа в поле сорвалась. Хотела покопаться в своем огороде, где только и сделали, что натаскали грядку под огурцы, но дождь и того не дал, напрасно лишь вымокла и расстроилась. И чтоб день не пропал совсем впустую, решила: поплыву, отвезу мужику сетку, которую с грехом пополам достала, отвезу еще бутылочку дегтя от той же мошки, свалю с души одну печаль.

Она обрадовалась, что Михеича нет и не надо с ним объясняться, а Семеновне сказала, будто сходит порыбачить, – Семеновна, все хныкала, что «вот люди ловят, а они с нынешней Ангары хвоштика омулявошлого не видели». Настена так и сказала – «сходит», чтобы непонятно было, пойдет она куда-то пешком или поплывет в лодке, – то и другое означало «сходить». Семеновна не успела ответить, не успела ни задержать, ни дать позволения, а Настена уже выскочила и быстрым шагом направилась к Ангаре. Весла держали в банных сенцах, там же валялись старые переметы на рыбу, смотанные на деревянные кольшки. Настена подхватила их, спустилась торопливо к воде и оттолкнула лодку. Вместо того чтобы заходить вверх, она сильными рывками погнала шитик вниз по течению. Через пять минут, когда деревню не видно стало за зыбкой, туманной завесой дождя, она повернула лодку поперек реки.

Дождь глухо, с сытым ворчанием шумел, входя в воду; река казалась серо-стальной и тусклой. Остров казался размытым и приподнятым, будто низкая туча, грязным пятном. Размыто было и небо, а лучше сказать, его не было вовсе, оно закатилось куда-то, как закатывается солнце, и теперь там настали сумерки. Настена вспомнила, что в марте, в лютую и мокрую метель, она бежала по льду где-то здесь же: время идет, а у нее ничего не меняется, и зимой и летом приходится искать непогоду, чтобы попасть все туда же, все для того же. Настена была в прорезиненном плаще, наброшенном поверх кофты, но он давно вытерся и не спасал от дождя, по спине неприятно, теплыми струйками, набираясь и нагреваясь, стекала вода. Мокрая кофта на лопатках влипла в тело, и это было тоже противно; Настена то и дело поводила спиной, отдирая ее и морщась, и сбивалась с гребя.

Она переплыла Ангару и, отыскав речку, загнала шитик в нее, протолкнув его далеко вверх и поставив под нависшую низко над речкой раскидистую березу, чтобы и не видно было постороннему глазу и поменьше нападало сверху дождя. Один перемет она взяла с собой, второй оставила в лодке. И, сойдя на берег, вздохнула натруженна: убежала, добралась, и добралась будто в одно мгновение. Но она потому и прихватила перемет, что ломнила: придется возвращаться. Все у них теперь шиворот-навыворот: сроду человеку легче было возвращаться по своим следам, чем идти вперед, а у них – нет. Попробуй Андрей вернуться туда, откуда он скопил свою жизнь! Попробуй она воротиться к той Настене, какой была полгода назад! А как тяжело будет ей плыть сегодня обратно: та же Ангара покажется впятеро шире, те же весла тяжелей, та же вода – страшней и глубже. Взять бы и не возвращаться, остаться здесь, на положенном ей месте, с положенным человеком, чтоб не прикидываться, не лукавить, не врать, а жить свободно тем, что она есть.

Она спустилась обратно к Ангаре и на каменистом берегу с быстрым и прямым течением размотала перемет. Этой снастью только теперь и рыбачить, через неделю-две, когда высветлится и войдет в свою норму вода, она не годится. В прошлом году после льда Настена несколько раз ставила под своим берегом – и добывала: приносила и ельцов и хариусов. Михеич по-стариковски признавал только морды, от всякой другой рыбалки он отошел.

А ей, Настене, сегодня, чтобы замазать глаза, хватило бы одного самого заморенного ельника. Главное, было б что сказать, чем прикрыться, а поверят, не поверят – наплевать. Так или иначе все идет к концу. В черном земляном яру с торчащими прутьями корней Настена, обваливая податливую почву и выворачивая коряги, набрала червей, наживила крючки и забросила за подвязанный камень перемет в воду. Ловись, рыбка, большая и маленькая, ловись. Уходя, Настена подумала, что, если ничего не поймается, надо хоть не обрывать с крючков остатки червей, чтобы видно было, что она действительно наживляла, действительно рыбачила, а не занималась чем другим. У Михеича голова бедовая, в нее что угодно может закрасться.

Дождь все нудил и нудил; Настене чудилось, что она слышит протяжное, надсадное поскрипыванье, с каким он спадал на землю. Трава, мягкая, далеко не вызревшая, принимала его бесшумно, на деревьях зябко подрагивали листья, над Ангарой висела глухая, как осенью, туманная морось. В небе появилось чуть заметное движение – или оно тоже

чудилось, наплывало перед глазами, которые не любят пустоты? Настена не бывала в верхнем зимовье и шла наугад шла сначала по-над берегом по старой запущенной тропке, которую выдавали в траве продольные залысины, затем повернула в гору. Ей казалось, что она должна сразу найти прежние работные места, но полян по склону светлело много, и не понять было, вечные ли это поляны или одичавшие поля; она продвигалась от одной к другой, от другой к третьей, забираясь все выше и выше, а постройка все не находилась. Взгляд по дождю доставал недалеко, и она еще долго плутала, прежде чем наткнулась на ключ, догадалась спуститься по нему и увидела прямо перед собой за редким осиновым леском черную от дождя и времени драньевую крышу зимовья. И опять Настена, как когда-то, постучала в окошко и тут же крикнула, чтобы Андрей узнал ее голос и не успел испугаться. И опять он выскочил, завел ее внутрь и помог скинуть мокрую одежду. Но разговор на этот раз пошел у них иначе, чем накануне, когда Настена приплыла впервые и они встретились на берегу.

Виновата в этом была Настена. Слушая Андрея, она поддавалась ему, верила, что так оно все и есть, как он говорит, что нет у них сейчас другого выхода, как скрываться ему здесь, а ей молчать там, – молчать, стиснув зубы, продираясь сквозь дни, точно сквозь острые камни, к какому-то неясному пока, неизвестному спасительному исходу. Но едва она оставалась одна, подступало отчаяние и мучительной жутью пронзалось сердце: да что же они делают? Что они делают, на что надеются? Правда – она сквозь камни прорастет, посреди Ангары в самом быстром и глубоком месте поднимется из воды говорящим деревом. Никакой силой ее не скрыть. Не лучше ли Андрею все же выйти и повиниться? Веруют же: об одном кающемся больше радости в небе, чем о десяти праведных. Люди тоже должны понимать, что тот, кто упал до такого греха, впредь для греха не годится. И, увидев опять перед собой провисшее и некрасиво заросшее, как замшелое, лицо Андрея, его провалившиеся глаза, острые и измученные страданием, его полусогнутую настороженную фигуру в грязной одежде; попав после дождя в сырое темное зимовье с горьким запахом спертого, задушенного воздуха, – увидев и ощутив все это, Настена с новой болью содрогнулась.

– Не топишь ты здесь, что ли? – спросила она, не сумев сдержать раздражения.

– Печки нетути, – осторожно, почувствовав ее настроение, ответил он.

В нахлынувшей горькой тоске, от которой стало пусто, ветрено во всем теле и застучало в голове, Настена простонала:

– Андрей, может, не надо, а? Может, не будем так, выйдем? Я бы пошла с тобой куда угодно, на какую хошь каторгу – куда тебя, туда и я. Так я больше не могу. И ты не можешь, ты посмотри на себя, какой ты стал, что ты с собой сделал? Кто тебе сказал, что расстреляют? Война кончилась... и без того задохнулись в смертях...

Она, торопясь, говорила и видела, как отодвигается от нее лицо Андрея, как, удивленно замерев, перекашивается оно недоброй усмешкой. Он сказал:

– Избавиться от меня надумала? Но-но, давай.

– Андрей! – испугалась она.

– Избавишься, Настена, избавишься, – клоня, пригибая и выворачивая голос до утешения, продолжал он. – И то: устала – сколько можно? Пора и честь знать. Должен сам понимать. Избавишься, Настена, да не так, как задумала. Со мной, говоришь, пойдешь? – Он еще тошней того усмехнулся и набрал голос: – Да ты же знаешь, что тебя рядом со мной к стенке не поставят. Пожалуют. А меня поставят. Тебя он хошь из-за пуза пожалуют. И пойдешь ты, голубушка, одна, и совесть свою освободишь. Ишь как ладно.

– Перестань, Андрей, счас же перестань. Как тебе не совестно говорить такое?

– Я тебя, Настена, сам от себя избавлю. Скоро уж, скоро, недолго ждать. Я не собираюсь всю жизнь тебя так мытарить. Да хошь завтра, если на то пошло, хошь счас – Ангара рядом. И зарывать, хлопотать не надо. У меня и веревочка припасена. По льду еще на мельницу заходил, прибрал там веревочку. Надежная – пятерых удержит. С твоей же лодки и прыгну, а ты доглядишь, чтоб не всплыл. Тебе же все равно через Ангару надо – ну и меня

по пути подбросишь, я тебе полдороги погребу.

Прижав к груди руки, словно защищаясь, и качая головой, чтоб не слышать и не понимать, Настена взмолилась:

– За что ты так меня, за что? Что я тебе сделала? Я думала, как лучше... я ж не уговариваю тебя, я сама не знаю. Сказала, что на ум пришло. А ты что говоришь? Зачем ты так?

– Нечего меня подталкивать, я сам знаю. Я тебе сразу, в первый же день, сказал: нет. И ты меня не повернешь назад, не старайся. Ничего не выйдет! – кричал он, уже не сдерживаясь и набрасываясь на нее с такой злобой, что она оцепенела. – Ишь, добренькая какая: лучше хотела. Я знаю, чего ты хотела. Догадалась, как спровадить, всю ночь, поди, не спала, все думала. Додумалась – лучше некуда! И сеточку вон принесла, чтоб мошка меня не кусала, когда руки-ноги свяжут. Обойдусь. Без сеточки твоей обойдусь. И ничего мне больше не надо, а то ты надсадилась таскать. Хватит. Хватит с тебя, отдохни. Больше сюда не показывайся, все равно ты меня не увидишь. И правда: на шею сел бабе – тяжело! Но запомни еще раз: скажешь кому, что я тут был, – достану. Мертвый приду и стребую. Запомни, Настена.

В надежде остановить, унять его она шагнула к нему – он искривился в быстрой брезгливой гримасе и втянул голову в плечи.

– Погляди на меня, Андрей, – попросила она со слабой настойчивостью. Погляди. Нет, ты погляди, не отворачивайся. Погляди и скажи: похожа я на ту, про кого ты говоришь? Бог с тобой, Андрей, что ты выдумал? Ну, скажи: похожа?

– Может, мне еще и повиниться перед тобой? В ножки упасть: мол, напраслину возвел? Или что ты хочешь, чтоб я сделал?

– Не надо виниться. А в ноги я сама упаду, только не говори так. Не верь ты себе, что наговорил, не обманывай себя. Как тебе в голову взбрело, что я могу поперек тебя пойти? Что ты, Андрей: что ты! Не надо так, ну, не надо... Ты посмотри хорошенько, посмотри на меня, такая я или нет? Неужто ты не видишь? – И, не отнимая глаз от него, прикусив губу, чтоб не расплакаться, она затряслась от рвущихся, через силу сдерживаемых рыданий.

– Себе, значит, не верь, а ей верь... Славно, – буркнул он, растерянно отворачиваясь и злясь на все, на все кругом, слепой, безысходной злостью.

Они надолго замолчали, Настена поднялась уходить, а он не сдвинулся с места, как стоял, так и остался стоять – не проводил.

Она вытерпела немного – только три дня. И при первой же возможности, никому ничего не объясняя, столкнула лодку и поплыла – больше находиться в неизвестности, здесь ли он, живой ли, она не могла. И когда ночью уж, в темноте, Настена постучала в окошко и он вышел, она кинулась ему на шею сама не своя от радости, не помни ни обиды и ни зла, видя только, что он здесь, живой. Лаская ее и тоже чуть не плача от встречи, он каялся, называя себя дураком, умолял не сердиться, не верить тому, что наговорил, говорил, что если б она не приплыла, то он угнал бы лодку и стал ее караулить, чтоб просить прощенья, – от всего этого Настена еще сильнее зашла, потерялась душой и пообещала:

– Если ты над собой что доспеешь, я тоже решусь – так и знай.

20

А дальше все покатило как под горку, и под горку крутую.

В субботу Настена истопила баню, закрыла ее и, зная, что Семеновна не любит первого жара, пошла поперед всех. Но едва она намылила голову (Лиза Вологжина где-то разжила и дала полкуса черного мыла), кто-то пришел и стал раздеваться в сенцах; замерев, Настена различила знакомое покряхтывание свекрови. С маху Настена кинулась всполаскивать голову, чтобы выскочить из бани, когда Семеновна войдет, сказать, что помылась, но потом одумалась и удержала себя: коли свекровь пришла одна, все равно она ее не отпустит. Нет, чему быть, того не миновать. И чего притащилась старуха – сроду вместе не мылись! Как

нарочно, как знала, что ее-то здесь больше всего и не ждут. А может, действительно нарочно, может, действительно знала: присмотрелась заранее, скараулила и решила проверить. Если так, сейчас будет потеха. Настена забралась подальше в угол и, загородившись шайкой, попробовала втянуть живот внутрь – а куда его втянешь, если он выкатился, куда его денешь, если он здесь? Как ни старайся, видно же, видно.

На этот раз, на удивление, обошлось. Семеновна или не заметила ничего, или, заметив, не поверила, перевела то, что баба раздобрела, на другую причину. И все же дважды или трижды, пока мылись, Настена ловила на себе ее упрямый, зыркающий взгляд и тогда подбиралась вся, поджималась так, что от натуги сводило скулы. После, когда оделась и вышла, пожалела: чего скрывалась? Самый удобный и верный был момент, чтобы, наоборот, показаться во всю свою красоту, а спросит – сказать, что есть. Даже лучше, если бы свекровь услышала это от нее, от Настены, а не от чужих людей. Наверно, не хватила бы кипятком, а что раскричалась, распалилась бы – пусть, зато Настена наконец освободилась бы от этого беспрестанного ожидания, от этого страха, который чем дальше, тем страшней и невыносимей.

Но баня для Настены все-таки даром не прошла. Семеновна с тех пор стала приглядываться к ней со своим особым, на один глаз, целящим прищуром, который, Настена знала, ничего хорошего ей не сулит. Значит, старуха что-то почуяла, не иначе. Началась самая настоящая охота: свекровь на дню по двадцать раз вставала в стойку, уже и не пряча, куда, в какое место, она наводит глаза, а Настена, скрываясь, или прошмыгивала бочком, или ходила, загораживаясь руками, запахиваясь в просторный Андреев пиджак, или сгибалась, выносила вперед грудь. А живот, тот в последнее время поднимался как на опаре, и никакими хитростями утаить его было уже невозможно.

И как-то под вечер, когда Настена и Семеновна были одни, суется и домашничая каждая за своим делом, – Настена больше во дворе, Семеновна по избе, – свекровь, будто впервые наткнувшись на Настенин живот, спросила прямо:

– Ты, девка, не брюхата ли? Што так расперло-то?

Сердце у Настены оборвалось: вот оно, вот. Вот он, порог пред ее крестным путем. Перешагивай, Настена. Отказываться, скрываться дальше некуда. И тем же словом, повернув его другой, твердой стороной, Настена ответила:

– Брюхатая.

– Эва-а-а! – удивленно и даже как бы обрадованно, что подозрения ее оказались непустыми, протянула Семеновна и вдруг подскочила на своих больных ногах, сдавленно, зайдясь от бешенства, вскрикнула и долго не в состоянии была выговорить ни слова, только трясла головой.

– Шуцка! – выкрикнула потом она, и Настена не сразу поняла, что это «сучка». Раньше свекровь никогда не ругалась. – Шуцка! Ой-е-е-ей! – заголосила она, хватаясь за голову. – Штыд, штыд, како-ой! Гошподи! Прешвятая богородица! Покарай ты ее, покарай на меддте. Побежала! Не дождалашь! И живет, притихла, шуцка такая! Андрюшка придет, а она, кобыла, уж готовая... Штыд-то твой где был? Где он у тебя был, куды ты его дела? Да штоб у тебя там цервяки завелишь! Штоб тебе вовек не оп-роштатъша! От бы хорошо было, от бы хорошо! – Семеновна и сама испугалась своих проклятий и, остановившись, поперхнувшись, с последней надеждой спросила: – Ты, может, врешь? Может, нету нице?

– Есть, – с каменным бессилием, зная только, что иначе отвечать нельзя, сказала Настена и невольно качнула вперед животом.

– Ешть, – простонала Семеновна. – Ешть, говорит. Будто так и надо. Не подавитша штыдом – нет. Не кошка ли ты? Не кошка ли ты, пакоштливая, блудливая? – нашла она новое слово и, как на кошку же, крикнула, указывая рукой на дверь: – Брышь! Брышь из дому, блудня! Штоб духу твоего тут поганого не было. Уметайша немедленно! Где была, туды и беги. Андрюшка придет – це мы ему шкажем? Кого держали? Кого пригрели на швой позор? Ить в деревне-то узнают, в деревне-то узнают – гошподи! Я тебя, девка, ш первого дни разглядела, я сразу по-цуяла, какая ты ешть. Побежала, принесла! Уметайша, не жди,

покуль я ухватом тебя не помела. Штоб тобой тут боле не пахло.

Настена в чем была, в том и вышла. На крыльце она подобрала ведро, в котором выносила теленку пойло и впопыхах забыла на ступеньке, и поставила его на лавку. Из избы продолжали греметь и шипеть проклятия; Настена постояла еще, как бы не понимая, не веря, что они относятся к ней и что ее действительно изгнали из дому, потом нерешительно, все еще медля чего-то и ожидая, открыла калитку. Неподалеку на полянке ребяташки играли в бабки, среди них был и Родька. Настена спросила у него, дома ли мать, и он ответил, что, наверно, дома. Больше идти было некуда – Настена пошла к Надьке.

Она не обижалась на Семеновну – что тут, в самом деле, обижаться? Этого и следовало ждать. Но до самого последнего момента Настена надеялась, что, раз она ни в чем не виновата, правда каким-то образом должна сказаться и уберечь ее от такой расправы. И не справедливости она искала – сейчас невозможно понять, что справедливо и что нет, она и сама давно заплутала в этих двух соснах, но хоть маломальского сочувствия от свекрови, ее молчаливой и вещей догадки, что ребенок, против которого она ополчилась, ей не чужой. Неужели своя кровь ничего ей не шепнула, не плеснула в сердце пытливым толчком? На что тогда рассчитывать от людей? Вот он, нарыв, который долго нарывал, тянул из нее терпение и силы, наконец лопнул, а приложить к ране нечего. Много ли помогут одни свои наговоры, бедное утешение в том, что надо все перетерпеть ради чего-то, что наступит после? А что там хорошего наступит? Нет, нечего ждать, нечего.

Сердце у Настены как упало, так и не поднялось, слабо стучало откуда-то снизу. Или она уже обходила сердцем, которым жил внутри ее ребенок? До себя ей не было никакого дела, лишь бы спасти его, ребенка, не дать ему тронуться страданием, которое выпало ей, в целостности-сохранности донести до того дня, когда придет пора выходить ему в мир. Может, люди, увидев его, когда будет на что смотреть, проймутся жалостью и не изгонят от себя, как изгнали сейчас из родного дома ее. Родной уж стал, восемь лет оттрубила. Не обидно, что так вышло, – нет, не обидно, а стыдно; и не за себя стыдно, она свою дорожку знает, смирилась с ней, а потому, что это произошло, что дошло оно до того, что надобно проситься ей в люди, чтобы было где переночевать. И уехать нельзя, двойной путой связана по рукам, по ногам, и ехать некуда. Одна, совсем одна.

Она пришла к Надьке и тяжело привалилась к дверному косяку, не смея, пока не договорится, пройти вперед. Кто знает, может, Надька откажет; каждого человека теперь надо узнавать заново: стоит только сдвинуться с того места, где стоял и к которому привыкли, как меняется все к тебе, люди готовы называть тебя другим именем. Надька, возясь у растопленной печки, спросила:

– Че ухайдакалась?

– Пустишь меня пожить маленько? – сразу, не в силах тянуть и готовиться к разговору, начала Настена.

– Кого – тебя?

– Меня.

Надька, собиравшаяся отмахнуться, взгляделась в нее внимательней:

– Че такое стряслось?

– Выгнали.

– Тебя выгнали?

Настена показала на живот:

– Видишь?

– Пи-пи-пи-и, – не своим голосом запела Надька и ахнула: – Заправду, че ли? Ты откуль его взяла? Погоди-ка, погоди-ка. – Надька подскочила к Настене и усадила ее на топчан, а сама, склонившись, встала напротив. – Это че на белом свете деется? И верно, видать. А никто ниче... Ты откуль его взяла? Ну, утво-рила-а! Вот это пикулька-свистулька! Засвистит, засвистит! Ничче себе! Кто это тебя?

– Святой дух. – Чего только Настена не отдала бы, чтобы ее ни о чем не спрашивали, не тормозили, не тыркали, чтобы ее оставили в покое. Тошно.

– Святой-то, святой, – подступала Надька. – Интересно же знать. Конечно, если секрет, то не надо. Ни одного мужика вроде не было. Нет, ты давай сразу рассказывай. Чтоб без околичностей. Я, может, сама этого святого захочу проверить?

– Не догонишь, Надька. – Понимая, что больше объяснять никому ничего не понадобится, достаточно одной Надьке, Настена решилась. Противно, но делать нечего, что-то говорить надо. Не первый и теперь уж, наверно, не последний грех на душу. – Помнишь, уполномоченный приезжал? – спросила она. – Который на облигации подписывал?

– Ну?

– Вот и ну! – озлилась Настена. – Запрягли, поехали, и... привезла. Долго ли умеючи?

– Недолго, недолго, я знаю, – торопливо согласилась Надька. – Долго потом расхлебывать. Ну, Настена! А все тихоней прикидывалась, краснела. Вот тебе и тихоня. А дальше-то как хочешь? Если Андрей придет? Он же убьет тебя.

– Пускай. Что ты спрашиваешь: как, как? Откуда я знаю?! Скажи лучше, могу я у тебя первое время перебиться? Пустишь, нет?

– Да можешь, можешь. Куда тебя деть. Вместе будем, если че, обороняться. Старуха тебя, конечно, не пожалеет, у ей счас все косточки против тебя бренчат. Внучонка сподобила, – не утерпела, хихикнула Надька. То-то она все зырила за тобой. А бабу где же укараулишь? Баба сама себя перехитрит, не то что других. Кто бы вот про тебя подумал? Ну, Настена-а! Рисковая ты, рисковая, не сладко тебе придется. Ниче, вместе станем горе мыкать. Я дак уж привычная. Ты так, с пустыми руками, и пришла? Ничего не взяла? Может, мне сходить, собрать там?

– Не надо. Я потом сама.

– Сама... Ты уж досамакалась. Да не вянь ты, не вянь, не пропадешь. Не то бывало. Встарь бывало и собака с волком живала. Проживем. А то че ж: названье одно, что баба. Нет, ты роди, потом поглядим. Как его хоть звали?

– Кого?

– Кого... Кого еще – этого твоего, который тебя на заем подписывал? Ловкий какой! Имя-то хоть спросила?

– Нет.

– Имя не спросила? Дура ты, Настена. Как же ты ребенка навеличишь. От что значит: не рожала. В метрику ведь придется записывать, а там спросят. Ниче, сочиним. Покуль суд да дело, найдем ему отца, самого хорошего.

Надька поохала еще, поохала и шмыгнула за порог. Все равно деревня узнает – как же было упустить возможность рассказать первой! А Настена, оставшись одна, упала на топчан, закрыла глаза, и дыхание ее перехватило крутой, обжигающей болью. Она бы и заплакала – так хотелось вволюшку пореветь, чтобы вынести из себя эту непомерную, охватившую уже все тело, несусветную боль, но боялась, не повредили бы слезы ребенку. И долго с одним тянущимся стоном каталась она на топчану, то вскакивая, то падая снова, и малой каплей не было ей ни в чем облегчения, не было ни затишья, ни усталости измученной душе.

Поздно вечером пришел Михеич и через Родьку вызвал Настену в ограду. Он сел на суковатый, истыканный топором чурбан, Настена осталась стоять. Она едва держалась на ногах, но сидеть не смогла бы сereем – так хоть оставалась возможность переминаясь, шевелиться, а неподвижность ее давила. Корявыми, трясущимися пальцами Михеич набил трубку и закурил, не сразу добыв из кресала огонь. Хватил дыму и захлебнулся, закашлялся, отвернувшись, склонился к земле, зашелся, натягивая и надрывая внутренности, и отдышался не скоро. Настена ждала. Отдышавшись, сделав еще несколько успокаивающих затажек, Михеич поднял на Настену слезящиеся глаза и устало, вымогающе сказал:

– Он здесь, Настена. Не отказывайся, я знаю. Никому не говори, откройся мне одному. Откройся, Настена, пожалей меня. Я ить отец ему.

Настена покачала головой.

– Дай один только и в последний раз увидаться. Христом-богом молю, Настена, дай. Не

простится тебе, если ты от меня скроешь... Хочу я спросить его, на что он такое надеется? А? Не говорил он тебе? У нас в родове всякие бывали, но чтоб до такого дойти... От стервец дак стервец. Доигрался... Сведи нас, Настена, – почти с угрозой потребовал он. – Христом-богом молю: сведи. Надо заворотить его, покуль он совсем не испоганился. Ты сама видишь: дале некуда играть. Хватит. Пожалей меня, Настена, подмогни. И тебе легче будет.

И, уже задумываясь, поддаваясь его мольбе, она покачала опять головой:

– О чем ты, тятя? Что я тебе скажу? Сказать-то нечего. Нету тут никого, придумал ты. Нету.

– Не ври, Настена. – Михеич поднялся и пристукнул трубкой по ноге. Кому ты врешь? Я с тобой по-хорошему хотел. Это ж от него пузо-то твое! От кого еще?! Будто я тебя не знаю. Будто не знаю, какая ты есть. Это ты старухе, бабам сказки рассказывай, а не мне. И ружье ты ему унесла, и много чего стаскала. От оно, доказательство-то. – Он чуть не достал трубкой до Настениного живота и отдернул ее. – Куды ты его денешь? Куды? Я тебя спрашиваю!

Понимая, что не надо бы этого говорить, но не найдя, не зная, что больше сказать, стараясь закончить, оборвать скорей разговор и уйти, упасть опять на топчан, она достала черного, нечистого, подложного козыря:

– Я с вашим Андреем четыре года прожила и – ниче. А ты говоришь: доказательство.

Он замер, испуганно заморгал, глядя на нее, и повернулся, тяжело зашагал к воротцам. Кто-то, видно, проходил в это время по улице; Михеич, открыв воротца, дернулся обратно, но подтолкнул себя и вышел.

21

Настена долго лежала, притворяясь спящей, дожидаясь, пока Надька и ребятишки уgomонятся, накинула и вытерпела добавочное время на тот случай, если кто сморился не сразу, и лишь тогда тихонько поднялась, прихватила платье, фуфайку и чирки в руди и босиком на цыпочках вышла. На крыльце под глухой стеной она оделась и обулась и так, в полном облачении, но простоволосая, пристыла на верхней ступеньке, набираясь решимости и проверяя себя, надо ли делать то, что вознамерилась, не лучше ли никуда не двигаться, а завалиться обратно в постель и забыться наконец, хоть ненадолго, потеряннм, желанным покоем.

Ночь была жутковатая – морошная, глухая, темная до крайней темноты. В прошлую ночь прошел дождь, с утра тоже принималось порывисто брызгать крупными редкими каплями, будто ветром, как с деревьев, сбрасывало последнее с туч, но дождь не направился, и весь день попусту простояла плотная, злая хмури, которая теперь, похоже, накрепла еще сильнее. Постройки в кромешной темени почти и не выделялись, приходилось пристально вглядываться, напрягать глаза, чтобы с трудом различать ближние избы, а может, даже не различать, лишь угадывать их на привычных местах; тяжелое небо нависло так низко, что чувствовалась его иная, чем на земле, холодная сырость и чужое, кружное шевеление воздуха. Ночь, чтобы спрятаться, самая подходящая, если бы Настена не боялась такой крутой, зловещей темноты, которая там, на Ангаре, мерещилась и того страшней.

На Ангаре она и наметилась, поднявшись с крылечка; по ночам да непогоде, скрываясь от людей, она давно уже знала только один путь. Мелко и часто перебирая ногами, чтобы не запнуться о что ни попало и не зашибиться, она прошла по телятнику к бане, которую еще три дня назад считала своей, и нащупала в сенцах лопашны и шест. Одноручное весло Настена не тронула: управляться как следует им она не научилась. Теперь, когда она не жила у Гуськовых, пользоваться без спросу лодкой Михеича походило на воровство, нет ничего другого Настене не оставалось. Не брать же совсем у чужих – еще науськают собак или придумают что похлеще; достаточно с нее и того, что есть. Как бы отзываясь на ее страхи, где-то посреди деревни вдруг забрехала непонятно с чего собака, к ней пристегнулась вторая

– Настена испуганно остановилась и присела у прясла, с бьющимся сердцем пережидая, когда собаки затихнут. Сегодня она боялась всего: и темноты, которая на самом деле была ей на руку, тишины, как никогда густой и чуткой, выдающей любой маломальский звук, и вот этого лая, который скорей всего был пустячным, с сонной собачьей дури, потому что скоро умолк, – во всем ей чудились намеренность, подстроенность, дурное предзнаменование. Осторожно, чуть не ползком, припадая при каждом шаге и прислушиваясь, спустилась она под яр, но скрип гальки под ногами на каменишнике показался ей оглушительным, так же громко, оглушительно зашуршала сталкиваемая лодка: Отпихнувшись, Настена перевалилась в нее и пригнулась, примолкла, давая течению стянуть шитик за деревню.

Здесь, на Ангаре, было светлей: от реки поднималось серое, исподнее мерцание, в котором взблескивала и терялась вода, как бы изгибаясь и опадая вниз. Выше его за мерклой прокладкой виделось полосами другое, более мутное и слабое свечение, неизвестно откуда берущееся; сразу за ним начиналась дремучая тьма. Настена отыскивала глазами огонек бакена – белого, который она помогала деду Матвею ставить и который сплавляли вторым, и оттого, что он здесь, не исчез, не погас, не сгинул, ей стало немножко легче. Шум воды на перекате ночью представлялся глуше, спокойней, но зато упругий, протяжистый, с легким подсвистом шорох течения слышался сейчас совсем хорошо. Слепо кружал, нарождаясь, подхватываясь и немощно опускаясь, предугранный ветерок...

Пора было братья за весла: как ни морозно, а летняя ночь все равно коротка. Настена рассчитывала поначалу еще до свету пригнать лодку обратно, но теперь понимала: не получится. Слишком долго пролежала в постели, просидела на крыльчке, долго скрадывала весла и таилась, пока снесет, на воде – время не ждало. Добро бы воротиться хоть и по свету, но до того, как поднимутся и вылезут на реку люди, чтобы не причаливать на виду и не подавать на пересуды-разговоры лишнего намека. Быть может, в последний разок и плывет, впредь не понадобится. Нельзя дальше испытывать судьбу достаточно. Похоже, что она, Настена, и без того где-то когда-то промахнулась, показала больше, чем следовало, – где, когда, что? К чему теперь доискиваться? Ничего это не даст. Успеть бы предупредить Андрея, уговориться с ним, а там будь что будет. Такую страшную, непосильную чувствовала она усталость, что хотелось отгрестись подальше, опустить весла и лечь, закрыть глаза – пускай бы тащило, уносило куда попало, хуже б не стало.

Три дня прошло, как Семеновна помела ее из дому, а Настена все не хотела поверить, что живет она где-то в людях, что нельзя ей, как раньше, пройти в свою комнатенку, переодеться и, опустившись на деревянную кровать, стыдливо приласкать перед сном живот. Теперь, когда прятать его было ни к чему, когда каждый кому не лень, тыкался в него глазами и опивался, как сладью, его открывшейся тайной, начала подтачиваться и глохнуть и нежность к ребенку, чуткое, дрожливое ощущение его наполняющейся жизни. Остался один страх: что с ним будет? Непросто было без конца выдерживать на себе хваткие и судные взгляды людей – любопытные, подозрительные, злые; как сама Настена не в состоянии была понять, что все, происшедшее с ней, – правда, так и другие не могли поверить, что она и есть та Настена, которую они знали, и всякий раз искали подтверждения молве: тут ли он живот-то, не опал ли, не исчез? Никто, ни один человек, даже Лиза Вологжина, своя в доску, не подбодрил: мол, держись, плюнь на разговоры, ребенок, которого ты родишь, твой, не чей-нибудь ребенок, тебе и беречь его, а люди, дай время, уймутся. Если б чуть сходилось по срокам, наверно, и Лиза покатила бы на нее, подозревая, не Максим ли там был. А может, и теперь задумывалась, подсчитывала – кто ее знает? Катерина вон, жена Нестора, не на шутку косилась, дурила про себя, а не подходить же к ней, не объяснять – мол, успокойся, твой Нестор тут ни при чем. Не всякий поверил Настениной сказке про уполномоченного – так, пожалуй, и должно быть, но Настене от этой отговорки легче не становилось. Бабы – ладно, с бабами обойдется, она знала, что не виновата пред ними – той хотя бы виной, которую они примеряли к ней, поэтому смотрела на них без стыда; куда хуже было, когда намекали на что-то близкое к правде. Иннокентий Иванович, щуря свои хитрые, пронирыливые глаза и понимающе качая головой, в первую же

встречу, когда обнаружился ее грех, закинул:

– Надо еще разобраться, бабонька, кто это тебя такой медалью наградил. А?

И пытко, зорко, весь в нюху, уставился на нее, ожидая, не дрогнет ли где жилка, не выкажет, не откроет ли что ненароком.

– Разбирайся, разбирайся, Иннокентий Иванович, – как всегда в последнее время настырничая с ним, не давая ему спуска, ответила Настена. – А я покуда шепну, что ребенок-то, однако, на тебя будет походить.

– Тьфу, язва! – сплюнул он и пригрозил, отходя:– Нич-че, выясним, на кого он будет походить.

Вот это уже выходило пострашней, и что тут делать, Настена не представляла. Она вообще нисколько не представляла, что ей делать, не в силах была задуматься и что-то решить: как оцепенела в первый день, когда на нее накричала Семеновна, так и не отошла.

Все кругом стало немило, все казалось чужим, направленным против нее, высматривающим каждый ее шаг, подслушивающим каждую мысль. Она шевелилась, чтобы не застыть, не обмереть окончательно, выходила на работу, говорила какие-то слова, когда спрашивали, но о чем говорила, какую работу исполняла, где была, сразу же забывала. Ночами она почти не спала, изнываясь тяжистой, горькой болью, когда ни в чем нельзя было отыскать спасенья, а при свете не отличала утра от вечера – заблудилась, закружилась, заплелась. Надька покрикивала на нее, подталкивая то к столу, то в постель, то в поле, Настена послушно двигалась, делала, что требовалось от нее, и снова коченела, уставившись перед собой невидяще и замаянно. И все ждала сенокоса, который должен был начаться со дня на день; почему-то верилось Настене, что в эту веселую, любимую ею прежде страду должна переломиться, прийти к какому-то одному концу вся ее мучительная, смутная заверть. Хватит – сколько можно?!

Она не собиралась сегодня к Андрею, но вечером пришла с посиделок Надька и доложила:

– Слушай-ка, Настена, че про тебя говорят... Говорят, будто ты от родного мужика, а не от чужого, пузо-то наростила.

Настена почувствовала, как ее с головой захлестнуло жаром.

– Где бы я его взяла, своего-то? – заставила она себя хмыкнуть. Четыре-то года, однако, много будет для пуза?

– Это Иннокентий Иванович догадки все строит. От него, мне кажется, пошло, – объяснила Надька. – Нейдется ему, старому хрычу. Сам-то для бабы бесполезный человек – вот и мутит народ, придумывает что поинтересней.

– От своего – так от своего, – согласилась Настена, чтобы показать: говорите что хотите, не жалко.

Уже после разговора ее пробрал страх: а ведь дотянется, ушлитина, дотянется. Другого такого Иннокентия Ивановича во всем свете нет. Будет рыскать до тех пор, пока не выйдет на прямую дорожку: раз уж запало ему – не отступится. Поедет в район, разыщет уполномоченного и с подмигом ему: мол, скоро в Атамановке ждут от него приплод. А тот, ясное дело, открестится, возмутится, и пойдет разговор у них всерьез. Нет, надо уходить Андрею – хоть куда, в какую угодно сторону, но уходить. Или выходить и сдаваться: когда по своей воле, надежды на пощаду больше. Господи, да сколько веревочке ни виться, а конец будет. Какую заварил кашу... какую кашу... к чему! Если и уйдет он, укроется на веки вечные, будто его и не было вовсе, – она уж и не знала, чего хотела! – все равно на ребенка после этого падет слава, от которой больше всего он хотел его уберечь: ходил-де в свою пору слух, что отец ему – бегляк с войны. И ничем эту славу не вытравить – так устроен человек, что скажи ему, будто кто-то рожден от самого дьявола, он поверить не поверит, но про дьявола не забудет и даже найдет сотню доказательств: от него, от нечистого. Стало быть, и ребенок родится на стыд, с которым не разлучаться ему всю жизнь. И тут не выйдет, как хотели, – ничего не выйдет. И грех родительский достанется ему, суровый, истошный грех, – куда с ним деваться?! И не простит, проклянет он их – поделом.

Темно; до чего темно, беспросветно кругом! И давит, давит тяжестью с неба, и нет берегов – только вода, которая в любой момент может, не останавливаясь, разомкнуться и снова сомкнуться. И не понять, светит ли еще, не умерк ли робкий огонек бакена – то сверкнет, то потеряется. Ночью на воде неживой дух – дух размытого старого кладбища, когда свербит и свербит в горле поврежденной кислой затхлостью, а душа боязливо замирает в уголке, прячась от неясных подзвонков, и чудится, что вот-вот мелькнет в глубине голос, скажет что-то зловеще-верное, с чем не захочется дальше и плыть.

Настена мягко, без всплесков, опускала лопашны и осторожно протягивала их в воде, подавая лодку вперед. Она двигалась, казалось ей, бесшумно, чутко внимая каждому звуку – речному, чужому ли, потустороннему, – ко всему настороженная, ко всему готовая. И когда на берегу что-то коротко и сухо стукнуло, будто опустили дерево на дерево, она тотчас поймала этот стук и замерла. И сразу же услышала тот внятный, скребущий шум, с каким stalkивают с галечника лодку. Булькнула потревоженная вода, затем все стихло, но скоро до Настены донеслись мерные, чуть чмокающие часы одноручного весла.

Сомневаться не приходилось: кто-то плыл за ней. Кто-то скараулил, подождал, пока она отгребла, и тронулся следом. Кто – Михеич или чужой? Неподалеку под одним яром стояли еще две лодки – Иннокентия Ивановича и Агафьи Сомовой, можно было взять любую, та и другая не замыкались. Настена не шевелилась; шитик ее развернуло и понесло, лопашны растопыренно бороздили по воде. Нечего было и думать, чтобы двигаться дальше: если слышит она, услышат и ее. Сплавала, предупредила! Надо возвращаться. Добро бы Михеич не так страшно, а вдруг не он? Кто б это ни был, воду ему она уже показала.

Та лодка, потеряв Настену, тоже примолкла, потом опять тихонько заработало кормовое весло. Настена догадалась, подлаживаясь под его звуки, грести к берегу. До него было недалеко, но ниже далеко в Ангару выдавалась релка, там на камнях билась вода. Дотянуть бы до релки – и гребки без боязни, только не стучи. Аккуратные, едва различимые всплески весла поравнялись с Настеной и прошли мимо; снова там затаились, ожидая, чтобы Настена выдала себя, и снова, не дождавшись, тронулись дальше.

Настене показалось, что светлеет; в воздухе появились мутные ржавые разводины. Перед утром настужалось, натягивался ветерок, определяясь в низовку, за бортом зарябила мырь. По-прежнему таясь, Настена добралась наконец до релки и шестом подтолкалась к берегу. Сейчас бы не сторожиться, а, наоборот, застучать, загреметь, чтобы знал он, тот, кто гоняется за ней, что она и не собиралась переплывать Ангару, а всего-навсего с бессонья вздумала прокатиться под своим берегом, развеять грусть-тоску. Устала она, от всего устала. Измоталась. Скорей бы конец: любой конец лучше такой жизни. Хотелось спать, но она понимала, что от неудачи, от того, что попасть в Андреевское не удалось, она не заснет. Только навредила: выдала Ангару.

Она пристала к берегу и неизвестно зачем вскарабкалась на яр. И правда, светлело: в темном небе со стороны горы мерцали прогляди. Ночь подвинулась; похоже, шевельнулась и погода может, к белому дню все-таки стянет с неба эту угрюмую железную навесь. Тяжелая, недобрая ночь – в такую ночь маются и с чистой душой, а у нее, у Настены, истерзанная, беспутная душа надорвалась и только ноет, ноет, жалуясь и плача без капли надежды.

Настена вдруг оступилась и вскрикнула, ухватившись рукой за покосившийся деревянный крест. Господи, куда попала?! Куда попала?! К утопленникам! От ужаса ее продрал мороз, ноги обмякли и не слушались. Ползком Настена выбралась из обвалившейся могилы и покатила вниз, к лодке. Господи, пожалей! Что же это такое?! К чему это, зачем? Неужто мало ей еще своих страхов? Не раздумывая, что ее могут услышать, она схватилась за шест и изо всей мочи погнала шитик вверх, прочь от поганого, жуткого места. Кладбище это развел за лето Мишка-батрак, еще в начале войны прибившийся к Атамановке из детдома мальчишка, вымахавший с тех пор почти во взрослого парня.

Нынче, как никогда, много несло утопленников. Отчего? Война кончилась, надежды стало больше – или жизнь сделала слишком крутой крен, и не все удержались на повороте, слабые попадали в Ангару? Кто знает... Мишка-батрак, которому дали прозвище за то, что

пробавлялся он по-первости в работниках, не брезговал вылавливать их и хоронить, получая от сельсовета за каждую могилу по десять рублей. Заработок этот ему понравился, целыми днями Мишка-батрак пропадал на реке, высматривая цепкими ястребиными глазами добычу, и зарыл на нижней поскотине уже четверых – зарыл как попало, без усердия, лишь бы колхоз заверил справку, что зарыт, по которой сельсовет выплачивал деньги.

И всю дорогу, пока Настена заталкивалась, ее трясло. Ведь помнила же, помнила, днем за версту обходила, боялась взглянуть в ту сторону, а ночью полезла. Прямо в могилу завалилась – что ж это такое?! И, ахая, содрогаясь от страха и омерзения, уже боялась за себя: заляпалась. И мыла, мыла потом руки, которыми хваталась за глинистую, липкую могильную землю, и все казалось ей, что пахнут они чем-то похожим на дрожжи.

Но она не забыла проверить: тот, кто плыл за ней, взял лодку Агафьи Сомовой.

22

Утром Настена не вышла на работу. Не вышла и Надька – ничего плохого в этом не было: завтра выезжали на покос, а последний день, кому надо, как обычно отдавался на сборы. Наконец-то Настена дождалась сенокоса, на который возлагала нынче какие-то особенные спасительные помыслы, хотя и близко не ведала, чем он ей сможет помочь. Но ведь сенокос же... Всегда в эту пору чувствовала она себя просветленно и празднично, податливо к любому покосному делу. Любила еще до солнца выйти по росе, встать у края деляны, опустив литовку к земле, и первым пробным взмахом пронести ее сквозь траву, а затем махать и махать, всем телом ощущая сочную взвынь ссекаемой зелени. Любила стоялый, стонущий хруст послеобеденной косьбы, когда еще не сошла жара и лениво, упористо расходятся после отдыха руки, но расходятся, набирают пылу, увлекаются и забывают, что делают они работу, а не творят забаву; веселой, зудливой страстью загорается душа – и вот уже идешь, не помня себя, с игривым подстегом смахивая траву, и кажется, будто вонзаешься, ввинчиваешься взмах за взмахом во что-то забытое, утаенно-родное. Любила даже гребь по мертвой жаре, когда сухо и ломко шебуршит собираемое сено и густым, едким дурманом пахнет урожайное разнотравье; любила спорое, с оглядкой на небо и вечер, пока не отошло сено, копненье; любила тесную суету у зародов – любила все от начала и до конца, от первого и до последнего дня.

Но то была другая Настена. То была другая Настена, но эта еще нетерпеливей той, с непонятным порывистым чаянием и слепой верой ждала сенокоса, будто от него решалась вся ее судьба. И верно, мерещилось ей: в сенокосные дни все и выяснится – где ей быть, с кем жить, на кого злиться, на кого молиться. И так хотелось выйти опять до солнца одной-одинешеньке, встать на меже по пояс в заросшей дурнине и взмахнуть литовкой – и упрямо, задиристо махать, не опинаясь, до тех пор, пока не выстелется дорожка к другому краю гона. И тогда оглянуться и вздохнуть свободно. Не зря говорят: работа робит человека, но она же, работа, до гроба кормит его и хранит. Главное, что хранит.

Но и это было вчера, а сегодня, после ночи, когда Настене не дали увидаться с Андреем, она совсем потерялась; усталость перешла в желанное, мстительное отчаяние. Ничего ей больше не хотелось, ни на что не надеялось, в душе засела пустая, противная тяжесть. То, что вчера еще представлялось возможным, просветным, сегодня опустилось стеной. За ночь она не сомкнула глаз, голова болела – и не болела уже, а истягивалась непрерывной мукой; что-то давило и занывало внутри – там, где ребенок, и она не знала, должно так быть или она успела покалечить ребенка. «Ишь что вознамерилась, – угрюмо кляла она себя и теряла мысль. – Так тебе и надо».

Делать она ничего не делала, ни за что не бралась, мыкалась и мыкалась с опущенными руками из угла в угол, из избы на улицу и обратно, будто что-то искала, чего-то ждала – и не находила, не могла дождаться. Ловила Лидку, обнимала, ласкала ее и надоела той. Лидка стала прятаться от нее.

– Тронулась ты, че ли? – прикрикнула на нее Надька. – Где ночью блудила-то?

Настена не удивилась и не испугалась: и верно, блудила – почему не спросить?

– К мужику своему хотела пробраться, да раздумала, – ответила она. Когда говоришь правду, легче не верят. А ей легче говорить ее. Надоело обманывать. Все надоело.

– Тронулась, – решила Надька. – Ну и черт с тобой, если ты человеческих слов не понимаешь. Рожай ты скорей и не изводи себя. Ребенка же родишь – не щененка.

Спасибо Надьке, хоть она не гонит. А больше Настене и держаться некого. Только что ей жаловаться на людей? Сама от них ушла. Той же Надьке, которая к ней с открытой душой, она врет, будто клятому врагу. Надька простоватая, верит, но когда-нибудь и она увидит, что ее водят за нос, и не поблагодарит. Заплуталась, некуда идти.

Перед обедом, пробравшись заулком, пожаловал Михеич и вызвал опять Настену в ограду. Он торопился и заговорил сразу, глядя в упор на Настену без капли тепла и жалости и точно отрубая слова:

– Слушай, дева. Если он здесь, пускай скорей уходит или ишо че, покуль не словили. Мужики, кажись, чего-то задумали. Туту них Иннокентий Иванович комиссарит. Нестор седни в Карду поехал. Неспроста это...

Настена молчала. Повернувшись уже уходить, Михеич добавил все тем же сухим, каленым голосом:

– Проклял бы я тебя, дева, что не дала мне с им свидеться, да на твою голову и так достанет хулы. А грех этот на тебе, никуды тебе от его не деться. – И выбилась все-таки горькая горечь, признал Михеич: – И он тоже гусь: с отцом испугался поговорить. А-а, ну вас...

И, махнув рукой, он полез обратно через заплот, смешно, уродливо задирая хромую ногу.

А Настена замерла и, долго еще оставалась без движения посреди ограды, пытаясь достать, сработать какое-то важное и нужное решение и не дотягиваясь до него, раз за разом прокручиваясь невнятной мыслью впустую. Все выгорело, а пепел не молотят. Да и что теперь придумаешь? Поздно.

Она уже ничему не верила – ни тому, что был Михеич, ни тому, что ночью кто-то выслеживал ее на Ангаре. Ей чудилось, что она выдумала все это с больной головы и забыла, что выдумала. Она любила раньше от скуки представлять, будто с ней случаются всякие забавные истории, и заигрывалась порой до того, что с трудом отличала правду от неправды. Так, наверное, и тут. Голова действительно разламывалась. Настена готова была содрать с себя кожу. Она старалась поменьше думать и шевелиться – не о чем ей думать, некуда шевелиться. Хватит.

Вечером Надька принесла новое известие: приехал Бурдак, милиционер. Настена молча усомнилась: может, приехал, а может, и нет. Точно никто не знает. Верь им, они наговорят. А хоть и приехал – что страшного? Мало ли зачем понадобилось ему в Атамановку? Рыбки, к примеру, половить или подогнать своей властью тех, кто не вносит налоговые ставки. Атамановка – его участок, он тут волен околачиваться каждый день. Приехал и приехал – что такого?

Она легла рано и тут же, несмотря на возню Надькиных ребятишек, уснула легким и скорбным сном. Точно в загаданное мгновение будто кто подтолкнул ее – она очнулась. Чувствовала она себя отдохнувшей и бодрой, в голове установился покой. Настена не знала, сколько прошло ночи – ходики на заборке, обвиснув гирькой, молчали, – но почему-то верила, что не опоздала, что ее не успели опередить. Оделась не таясь и так же не таясь вышла, плотно притворив за собой дверь. Когда не скрываешься, не прячешься, получается удачней, а удача на этот раз была ей необходима позарез.

Только сейчас Настена заметила, что за день худо-бедно прояснило и теперь на небе мигали, пробиваясь, звездочки. Ночь была тихая, потемистая, но в ровном бедном свете виделось все же достаточно хорошо, а на Ангаре, в длинном просторном коридоре, и того лучше. Настена сняла с берега лодку, оттолкнула и сразу взялась за лопашины. Надо успеть, надо предупредить мужика. Надо попрощаться. Навсегда, до других ли времен – неизвестно:

Стыдно... почему так истошно стыдно и перед Андреем, и перед людьми, и перед собой? Где набрала она вины для такого стыда?

До чего легко, способно жить в счастливые дни и до чего горько, окаянно в дни несчастные! Почему не дано человеку запасать впрок одно, чтобы смягчить затем тяжесть другого? Почему между тем и другим всегда пропасть? Где ты был, человек, какими игрушками ты играл, когда назначали тебе судьбу? Зачем ты с ней согласился? Зачем ты, не задумавшись, дал отсекать себе крылья именно тогда, когда они больше всего необходимы, когда требуется не ползком, а летом убежать от беды?

Настена гребла и с покорным, смирившимся чувством соглашалась с тем, что происходило: так, видно, надо, это она и заслужила... Доверь непутевому человеку после одной его жизни вторую, все равно не научится жить. До чего тихо, спокойно в небе. А вчерашней ночью было жутко; боязно, когда глаза совсем ничего не различают в темноте, мерещится, что вот-вот что-то случится. Правду ли говорят, что звезды со своей вышины видят под собой задолго вперед? Где они ее, Настену, разглядели за этой ночью, что они чуют? Слабенькие сегодня звездочки – куда им задолго?

Она гребла, смутившись непривычными и непосильными, праздными мыслями, удивляясь, что душа тщится отвечать им.

На душе от чего-то было тоже празднично и грустно, как от протяжной старинной песни, когда слушаешь и теряешься, чьи это голоса – тех, кто живет сейчас, или кто жил сто, двести лет назад. Смолкает хор, вступает второй... И подтягивает третий...

Нет, сладко жить; страшно жить; стыдно жить.

И вдруг посреди этих мыслей ее застигли другие, совсем не песенные голоса. Она удивленно обернулась и увидела на берегу фигуры людей.

– Вон она, вон! – кричал Нестор. По воде хорошо слышно было и что говорили и кто говорил. Нестор матюкнулся ляпким, хлестким, словом, и Настена догадалась, что слово это послано ей. – Помела, поперед хотела проскочить. Не выйдет, голуба, не выйдет. Догоним.

– Вторую лодку сталкивай, – это уже голос Иннокентия Ивановича. Скорей – чего телиться!

– Доста-а-нем!

С испугу Настена кинулась было грести во весь дух, но тут же опустила весла. Куда? Зачем? Она и без того отплыла достаточно, дальше грести ни к чему.

Устала она. Знал бы кто, как она устала и как хочется отдохнуть! Не бояться, не стыдиться, не ждать со страхом завтрашнего дня, на веки вечные сделаться вольной, не помня ни себя, ни других, не помня ни капли из того, что пришлось испытать. Вот оно наконец, желанное, заработанное мучениями счастье, – почему она не верила в него раньше? Чего она искала, чего добивалась? Напрасно, все напрасно.

Стыдно... всякий ли понимает, как стыдно жить, когда другой на твоём месте сумел бы прожить лучше? Как можно смотреть после этого людям в глаза?... Но и стыд исчезнет, и стыд забудется, освободит ее...

Она встала в рост и посмотрела в сторону Андреевского. Но оно, Андреевское, задалено было тьмью...

Лодки приближались. Сейчас, сейчас уже будет поздно.

Она шагнула в корму и заглянула в воду. Далеко-далеко изнутри шло мерцание, как из жуткой красивой сказки, – в нем струилось и трепетало небо. Сколько людей решилось пойти туда и скольким еще решаться!

Поперек Ангары проплыла широкая тень: двигалась ночь. В уши набирался плеск – чистый, ласковый и подталкивающий, нем звенели десятки, сотни, тысячи колокольчиков... И сзывали те колокольчики кого-то на праздник. Казалось Настене, что ее морит сон. Опершись коленями в борт, она наклоняла его все ниже и ниже, пристально, всем зрением, которое было отпущено ей на многие годы вперед, вглядываясь в глубь, и увидела: у самого дна вспыхнула спичка.

– Настена, не смей! Насте-е-о-на! – услышала еще она отчаянный крик Максима

Вологжина – последнее, что довелось ей услышать, и осторожно перевалилась в воду.

Плеснула Ангара, закачался шитик, в слабом ночном свете потянулись на стороны круги. Но рванулась Ангара сильней и смяла, закрыла их – и не осталось на том месте даже выбоинки, о которую бы спотыкалось течение.

Только на четвертый день прибило Настену к берегу недалеко от Карды. Сообщили в Атамановку, но Михеич лежал при смерти, и за Настеной отправили Мишку-батрака. Он и доставил Настену обратно в лодке, а доставив, по-хозяйски вознамерился похоронить ее на кладбище утопленников. Бабы не дали. И предали Настену земле среди своих, только чуть с краешку, у покосившейся изгороди.

После похорон собрались бабы у Надьки на немудреные поминки и всплакнули: жалко было Настену.